

АДЕЛЬ ХАИРОВ



*Урай,
не знай перам*

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Адель Хаиров

Играй, не знай печали

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56554145

Играй, не знай печали:
ISBN 978-5-298-03781-5

Аннотация

Это первый сборник рассказов казанского журналиста Аделя Хаирова и одновременно как бы итоговый. Читатель найдёт в книге истории о казанцах и старом городе, любви и одиночестве, поисках смысла жизни и самого себя. Здесь сюжеты лирические, романтические, ностальгические, драматические, мистические, сюрреалистические.

Адель Хаиров на протяжении многих лет собирал в блокнот интересные характеры, которые встречались ему в городе и деревне, чтобы сохранить их в своих рассказах как редкие экземпляры – украшение земли татарстанской.

Содержание

Рассказы дачника	5
Моё сдобное детство	6
Я вырос на той волшебной бахче	11
Подкова Тамерлана	26
Нижний Услон	29
Клюка Аглаи	35
«Скворечник» дяди Миши	39
Мопед Мубарака	45
Сверчки	50
Петькины бурдюки	62
Лестница в Небеса	67
Смерть поэта	72
Тайна белой беседки	77
На том свете...	85
Роскошные сны Барласа	90
Такое весёлое кино	96
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Адель Хаиров

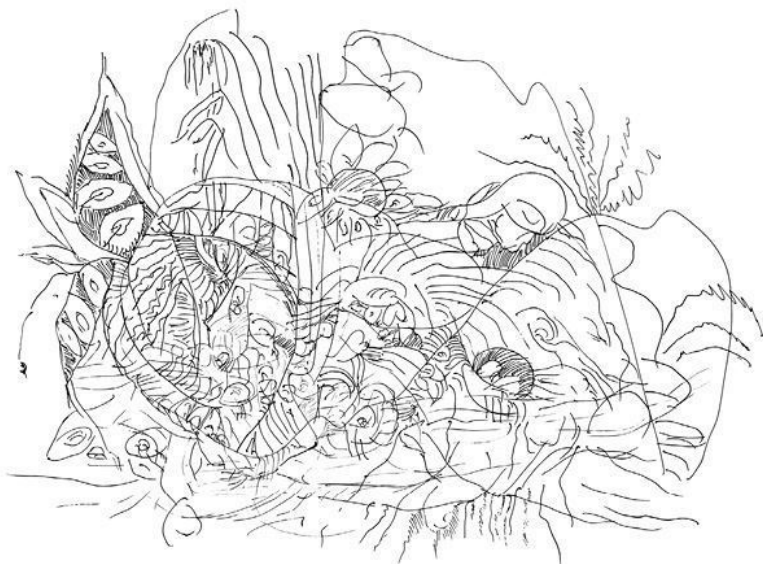
Играй, не знай печали

© Татарское книжное издательство, 2019

© Хаиров А. Р., 2019

Рассказы дачника

*Всё бережно сложено в чашу вечера.
Антуан де Сент-Экзюпери, из романа «Цитадель»*



Моё сдобное детство

На дачной веранде за круглым столом сидели три сестры и подносили к губам тёмно-зелёные пиалы с золотыми ободками. Тульский самовар «Баташев и сыновья» пел тюркскую песню и отражал их раскрасневшиеся лица с надутыми щеками: старшая Марьям, средняя Уммугульсум и младшая – Альфия.

В вазочке крыжовенного варенья завяз пропеллер осы. Шмель отяжелел и уже не мог оторваться от липкой лужицы. О чём они говорили, меня мало интересовало. Наверное, сплетничали. Я таскал конфеты «Птичье молоко» и кубики чак-чака – для своих друзей, засевших в малине с луками и томагавками.

Однажды я увидел, как моя давани¹, Уммугульсум Ибрагимовна, ела астраханский арбуз... с солью! Брала истекающий сахаром ломоть, вытряхивала чёрные семечки прямо в окошко и посыпала его крупной солью. На это было даже противно смотреть. Но, как объяснила сама бабушка, в Самарканде, где она долгое время проживала, так делали все.

Помню, как приехал издалека её младший сын со своей невестой Лидой. Он был военным и мотался по гарнизонам. Пошуршал бумажным пакетом и торжественно выставил на стол трёхлитровую банку красной икры. Явно хотел удивить.

¹ Давани (тат.) – бабушка.

И тут в ответ откуда-то из-под вафельной салфетки вдруг материализовалась трёхлитровая банка... чёрной осетровой икры из бабушкиных закромов. И его мягко пожурили: «Ты забыл, мы же не едим красную». Думаю, если бы дядя Зуфар – стройный советский лейтенант, приехал с татаркой, то бабушка была бы рада даже щучьей икре!

Пища на нашем столе была очень жирная, калорийная, много мучного, сдобного. На плите в огромной кастрюле булькала шулла² из баранины, один запах которой уже насыщал. Если рыба, то только огромные лещи, жаренные в масле до золотистой корочки. Каждый день лакомились сладкой выпечкой. Пекли медовые коржи и смазывали их кремом из сгущёнки. Чак-чак, баурсак, медово-ореховая пахлава, песочное рассыпчатое печенье... – всегда громоздились в фарфоровой глубокой вазе. Из новомодных делали многоэтажный торт «Наполеон».

Сёстры своим вкусам не изменяли, воздерживались только на Рамазан, и покидали этот свет нехотя, друг за дружкой, когда им было уже за девяносто.

...После раскулачивания (семейное предание гласит, что у прабабушки какой-то рьяный чекист вырвал серёжки из ушей, не дожидаясь, когда та их снимет) и ссылки на хлопковые поля Узбекистана большая семья обосновалась в Самарканде. Шло время, закончилась Великая Отечественная война, и сёстры на свой страх и риск вернулись в Казань. Ку-

² Шулла (тат.) – бульон.

пили в Старотатарской слободе деревянную избушку рядом с «родовым гнездом» – двухэтажным кирпичным домом, в котором теперь разместилась контора макаронной фабрики. Жили тихо, скрытно, никому не рассказывали, что ати³ был родом из Стамбула, по фамилии Муштаки, что в Казани он торговал мехами и тканями.

Здесь и женился на знатной татарочке, бренчащей монетами в тяжёлых косах, породнившись с родом Мамяшевых.

Вернулись они другими – оузбеченными. Стали менее суэтливыми, более плавными.

Давани готовила в саду на костре в большом закопчённом казане настоящий узбекский плов с жирными кусками баранины и нарезанной соломкой морковью. На кухне она всегда была перепачкана мукой, даже дверные ручки у нас были в тесте. С помощью волшебной скалки рождались пушистые пироги – мясные, рыбные, капустные, тыквенные, с курагой, чёрной смородиной, малиной и вишней. Помню, какой у неё зимой получался пирог с начинкой из варенья-пятиминутки, где каждый слой теста, как сладкий полупрозрачный пергамент, можно было легко «перелистнуть» или скатать в трубочку. Таких пирогов я больше ни у кого не встречал.

Нож быстро-быстро стучал по доске, и прямо на глазах вырастал невесомый холмик лапши. Иногда давани начинала крутить в руках горячую косу карамели – разминать её и тянуть в разные стороны. После чего на столе появлялись

³ Ати (тат.) – отец.

тающие во рту белые колпачки калевы.

Дома всегда было полно еды. Постоянно приходила близкая родня, дальняя и «седьмая вода на киселе», заглядывали знакомые, соседи, и застолье не заканчивалось.

Но это не было бездумным набиванием пуза. Обеденный стол красиво сервировали самой лучшей посудой, которая сверкала в буфете. В отличие от шумной и безалаберной пирушки, где гости курят и пьют вино из щербатых стаканов, а по ногам лупит сквозняк, у татар всё иначе. У них в тепле и уюте происходит негромкое общение, ухаживание за старшими, и какое-то незаметное, как будто бы стеснительное поедание вкуснейших блюд.

Вино у татар никогда не торжествовало на столе, только – чай. Байховый чёрный, цейлонский или индийский «со словами» на пачках, по всем правилам заваренный в фарфоровом чайнике. Если мужчины и пропускали граммов пятьдесят водки, то украдкой, где-нибудь на кухне. Вообще-то уж лучше пахнуть луком и чесноком!

Сколько лет прошло, но в моих ушах – не зря их ещё называют «ушными раковинами» – звучит голос давани, которая, раскатывая тесто, слушала радио и тихонько подпевала Тахиру Якупову. Песня называлась «Су буйлап» («Вдоль по реке»). Как-то шёл я по Старотатарской слободе и услышал эту песню. Помню, был февраль, снег мёл такой мелкий-мелкий, как мука, просеянная через сито, превращая низкорослые купеческие домики в торты и пирожные. Песня неслась

из окна второго этажа, в котором спелой тыквой светился абажур. Вдруг на шторе проступил женский силуэт – и тут к певцу присоединился тихий голосок. Мне показалось, что своими мечтами женщина уносилась далеко-далеко – на голубой палубе белого парохода, плывущего в Астрахань.

За бортом бежит река и обрызгивает капельками пассажиров. Чернобровый Тахир в белоснежной рубашке с коротким рукавом, облокотившись о перила, с грустью смотрит на берег. Речной ветер, взъерошив кудри, уносит его песню куда-то кому-то...

Мне захотелось зайти в тот дом...

Я вырос на той волшебной бахче

Бабушка будила меня часов в шесть. Я завтракал с закрытыми глазами. Мы садились в полупустой троллейбус у кинотеатра «Победа» и ехали на окраину Казани в посёлок Борисково. За окном хмурые дворники подметали солнечные зайчики, загоняя их в совки. Полусонные прохожие отскакивали от хамоватой метлы, которой дяденька в грязном фартуке размахивал как косой, а девушки с визгом пробегали под струёй, бьющей из шланга сверкающими горошинами.

По дороге на дачу

Я заглядывал в слепые глаза купеческих домов. Пока стояли на светофоре, успевал разглядеть загогулину на карнизе, фигурно выпиленную из дерева, заржавевший в дождях флюгер, захламлённую террасу, где раньше посвистывал самовар, опоясанный баранками с маком...

Потом появлялся строй подтянутых сталинок, здесь уже жили совсем другие люди, освобождённые от груза прошлого и старых вещей. Я видел, как бронзовый атлет крутит мельницу на балконе, а на него с фасада поглядывает гипсовая физкультурница с веслом.

За прогрохотавшим над головой железнодорожным мостом начиналась стройная ограда с колоннами, за ней тон-

ким лучом в небо была золотая игла Казанского ВДНХ. Троллейбус неспешно шуршал по пустой дороге. Танк с постаментов разворачивал на нас дуло, но он был свой – не бабахнет! Жёлтые казармы с бегающими солдатиками по кругу оставались позади и вдруг за изгибом поворота ослепляла вспышка – это сияло расплавленное серебро за плакучими ивами. Деревья осторожно входили в воду, и у них вспыхивали кончики распущенных волос.

Нос вспоминает

Выгружались на конечной, ловили попутку – какой-нибудь пыльный ЗИЛ, который подбрасывал до поворота. И отсюда по шпалам узкоколейки направлялись к заветной даче. Бабушка тащила пластмассовые корзины со снедью, я – бидон с молоком или яйцами. Шли мимо бесконечного забора пивзавода, откуда вырывался на просторы пьяненький ветерок. Спускались на просёлочную дорогу, и там нас иногда подбирала какая-нибудь телега, бредущая в посёлок.

Мой нос многое помнит. Нет-нет, да и появится в ноздрях дурманящий запах бензина из кабины грузовика, острый солерочный – от шпал и придорожной травы, сладковатый – от пивных дрожжей, горячий хлебный – от потной лошади.

Но вот мы оказывались у голубой калитки садового товарищества. За ней обрывались дорожные запахи и тебя начинали обволакивать сотни всевозможных туманов и ветерков,

которые текли из садов гурьбой наперебой...

Я видел, как одни из них вздымаются самоварным дымком к бирюзовому небу, другие стелются по росной траве, третьи виснут на плечах, как пёстрые ленты, и тянутся к нежному горлу. Можно было часами ходить по садовому товариществу и «разглядывать» носом!

Вечерами я любил гулять по аллеям и изучать домики. Вот в этом ярко-зелёном с верандой на одно кресло-качалку живёт пенсионерка, влюблённая в мальвы. Она и сама в пурпурной панамке, как старая мальва! Её цветы на длинных стеблях высовываются за ограду, чтобы клюнуть какого-нибудь дачника в темечко. Напротив в полуразвалившейся халупе ошетибилась крыжовником злая старушенция. Я как-то подкрался и набрал полную бескозырку маленьких зелёных арбузов, но она засекала-таки и погналась за мной, щёлкая костлявыми коленками. Я юркнул в какую-то щель...

А в теремке необычной конструкции – с крышей до самой земли – проживал чужак, он выращивал кишмиш и дыни. У калитки рос огромный грецкий орех, а под грушей висел гамак из рыболовной сети.

Мне кажется, что садоводы в те годы были более поэтичными. Огурцы и помидоры не заслоняли им театрально растекающийся по крышам закат. По вечерам они, как купцы, любили долго чаёвничать на веранде, пробуя ложечкой всевозможные варенья и джемы. Угощались сладкими пирожками. Пробовали вишнёвую наливку из липкой бутылки с

мумиями ос.

...Мы подошли к своей голубой даче с тыльной стороны. Осталось только отомкнуть амбарный замок на дверце, сделанной из спинки железной кровати, чтобы пройти на участок.

– Салям-элейкум! – кричит моя бабушка соседу.

Джапар-абый⁴, помешивая черпаком в тазике варенье, поднимает заплаканные от дыма глаза и машет рукой, подзывая. Бабушка посылает меня к нему с кружкой. Он накладывает тёплую фиолетовую пенку до краёв, и мы с бабушкой пьём чай, макая куски белого пшеничного хлеба в кружку. Губы у нас фиолетовые. Их хочет поцеловать оса.

Индийский слон

Мой дядя, студент КАИ, из подручных средств собрал ламповую радиолу и назвал её по первым буквам своего имени – «ЗУФ-1». Он, как радист, сидел в наушниках и гулял по ночному эфиру. Рядом с радиолой лежала стопка грампластинок в конвертах. Бабушка в минуты лирического настроения ставила татарские песни и подпевала.

Мне нравилась музыка к индийскому фильму «Миллион рупий». Я мог слушать её бесконечно. Прикрывал глаза и воображал, как въезжаю, покачиваясь, на огромном слоне,

⁴ Абый (тат.) – обращение к старшему по возрасту мужчине.

украшенном цветочными гирляндами, в какой-то город с золотыми буддийскими храмами и буйной зеленью. Жители машут мне с балконов и крыш. Они осыпают меня лепестками роз. Всё это было так правдоподобно, что я ощущал, как трёт шею жёсткий воротничок золотого камзола, как мне завидует с забора какой-то мальчик-индус, как пахнет розами и кислым потом от слона.

Когда осенью дедушка повёл меня в Казанский зоопарк и я там впервые увидел старого слона, отгороженного от публики гвоздями остриями вверх, то я его узнал... Он меня тоже. Слон коснулся хоботом, как клюшкой, полосатой антоновки, которой его угостили, и покатил её мне.

Игра с солнцем

Дедушка соблюдал режим, после обеда он укладывался на часок. Мне тоже стелили, чтобы я ему не мешал. У меня была своя детская раскладушка. Я ложился под лёгкой тенью яблони и притихал. Иногда засыпал, но чаще тихо мечтал. Луч солнца находил дырку в листве и начинал играть со мной. Он ползал по лицу и слепил. Сквозь щёлочки я видел апельсины вместо антоновки, потом огромная стрекоза закрывала мне глаза дрожащим крылом – и я смотрел на мир, раскрашенный витражами. Она улетала, пощекотав мне нос, и тут же появлялся мираж – город, объятый пламенем. Жар обжигал мне веки, я начинал плевать, чтобы потушить до-

ма и мечущихся людей.

Сонное одеяло

Вечером спальня дедушки становилась похожей на соты, полные мёда. Она была в глубине дачи и солнечный свет отыскивал её только на закате. Заливал полностью и стоял. В шкапчике слипался кулёк лимонной карамели, которую дедушка держал, чтобы поощрять меня за помощь в саду. Выдавал одну-две конфетки в липких жёлтых обёртках. Но я быстро прознал, где он их прячет, и стал незаметно сам себя награждать.

Я тихонько затворил за собой дверь и стоял, прислушиваясь к тишине. Где-то гудел отяжелевший от пыльцы шмель, на гамаке паутины всхлипывала бабочка. Её лимонные крылышки показались мне фантиком, в который было завернуто тельце.

Засунув за щёки две карамельки, я увидел дедушкино лоскутное одеяло. Оно было бежево-шоколадное и такое сонное на вид, что как только я коснулся лбом его батистовой пухлости, то сразу же заснул, пуская сладкие слюни.

Недавно я услышал рекламу турецких одеял: «Пуховое из батиста, лёгкое, очень мягкое, как облако. Прекрасно принимает форму тела, нежно окутывает его. Идеально подойдёт детям и нежным барышням с чувствительной кожей».

Именно таким и было дедушкино одеяло!

Грустные картинки

На белой двери в спальню дедушки, после того как он ушёл в мир иной, я нарисовал синим карандашом четыре портрета одного и того же человека. Это был вымышленный герой. Вот он ещё подросток – в вязаной лыжной шапочке, видимо, собрался покататься. Под ним следующий кадр: мальчик превратился в усатого мужчину в строгой шляпе. Ниже: он уже бородатый пенсионер с грустными глазами. Следующий образ – сгорбленный старик с палочкой. И почти у самого пола – череп и кости, всё, что от него осталось. Взрослым не нравилась эта картинка. Маленький мальчик должен рисовать маму, домик и солнышко.

Неудавшийся побег

Однажды, когда мы шли с бабушкой по дамбе, я увидел цыганский табор, расположившийся в низине. На ветках сушилось пёстрое бельё, на костре кипел чёрный казанок, дети резвились, как кутята, чуть в сторонке на складном стульчике, как на троне, восседал седой цыган в широкополой шляпе и пускал дымок. Он наблюдал как бы со стороны за происходящим, а когда что-то говорил, то его рот начинал сверкать золотом. Все замирали и слушали. У женщин даже мо-

нетки в косах переставали брнчать. Запах мясной похлёбки зашекотал мой нос, и я проглотил слюну.

Через день, когда мы шли той же дорогой, табора уже не было. Ветерок раздувал золу погасшего кострища и гонял бумажки по вытоптанной лужайке. «А куда ушли цыгане?» – спросил я бабушку. «Туда! За кордон...» – махнула она рукой за горизонт. И мне страшно захотелось «за кордон», который начинался на стыке леса и неба, за сиреневой акварельной полосой, похожей на след беличьей кисти по пузырьчатому ватману.

Я подговорил девочку-соседку, которая тоже хотела посмотреть на этот загадочный «за кордон», и мы принялись плести из ивовых прутьев машину. Пока она возилась с кузовом (получалось что-то вроде большой двухместной корзины), я сделал из алюминиевой проволоки ключи от ещё несуществующей машины. Они болтались на цепочке у меня в руке, и я был очень доволен.

Осенью в детсаде я подбил на побег двух приятелей. Уговаривая, показывал им картинку с цирковым львом Бонифацем под пальмой. Отлавливали нас по очереди. Чтобы меня не узнали, я надел картуз задом наперёд и пошёл прихрамывая. Но мою уловку быстро раскусили.

Встреча с молнией

Помню молнию вблизи. Мимо пробежал испуганный дож-

дик, потом дачный посёлок стали обстреливать пушки из чернильных туч. Заряжай, пли! Косые струи пахли свежим огурцом, они избили флоксы и помидоры. Даже пики из алюминиевых трубок не помогли. Мы с приятелем с испуга залезли на старую иву. Но снаряды били всё ближе – сначала ржавый столб электросети мелко задрожал и покрылся инеем, затем вскипела железная бочка водонапорной башни. Стоял гул, запахло морозом. Следующей целью должна была стать наша одинокая ива. Мы дрогнули и попадали вниз. И тут же дерево в четыре объёма детских рук треснуло от вошедшего в него лезвия. Молния была ярко-синяя, холодная, как средневековый меч. Нас расшвыряло от взрыва.

Выглянуло солнце и земля запарила. И вдруг мы увидели голый ствол ивы. Она дымилась, и весь склон был усеян узкими листочками с её поверженной головы. Взрослым ничего не сказали. Наврали, что прятались от дождя на чердаке.

В меду заката

Летний вечер, ясный, как стакан сладкого чая с лимоном. Я тоже, как ложечка, перестал звенеть. Затих, задумался. Наблюдаю, как закуток сада, где ещё шпарит солнце, тихо наполняется мёдом. На дачный домик напоздаёт сиреневая тень. Флоксы, примятые ливнем, принялись поднимать растормошенные головы. Вижу, как лепестки превращаются в белых бабочек, которых клюют длинноногие фламинго, – это

гладиолусы. Продолговатый кабачок ползёт питоном к зелёным мышам – огурцам. И даже оставленный на раскладушке мамой журнал «Работница» показался живым – попытался взлететь, но мокрые страницы были тяжелы.

Потом появилась бабушка и стала читать вслух сказку «Суанасы» («Водяная») из зелёной книжки. До этого она чистила лещей и чешуя набрызгала ей на волосы. Вдруг мне почудилось, что она – русалка и только прикидывается бабушкой. Я испугался.

Ихтиандр в ванной

В жару бабушка наполнила ванную для поливки, и я туда погрузился. Шланг выскользнул и зажурчал в малину. Струя уходила, не растекаясь, в растрескавшуюся почву.

На веранде бабушка, вздыхая от духоты, стучала ножом по доске – крошила зелёный лук. Она собиралась жарить пирожки. Я поиграл немного с пластмассовым корабликом, потом, представив себя человеком-амфибией, погрузился на дно и стал громко выпускать пузыри. И вот, вынырнув за порцией воздуха, вижу, как бабушка, отшвырнув в сторону доску с луком, в одной тапочке, со всех ног несётся ко мне. Она бежала напрямик по грядкам, хрустя помидорной рассадой и распиная ведра. Такой прыти я от неё не ожидал! Подскочив, ухватила меня за волосы и вытащила из ванной, как щенка. Шланг заплясал и окатил её струёй. Она плакала

от радости.

Так как бабушка работала, то для присмотра за мной был выписан из деревни двоюродный брат дедушки – горбун Габдрахман. Он появился на следующий день после того, как по телику показали спектакль «Карлик-нос», и принялся, бормоча, готовить на кухоньке суп. Я сидел на стульчике и зачарованный смотрел, как качается горб под шерстяной жилеткой и переминаются ноги цапли в больших тапочках. Он был явно из сказки!

Тайна летней ночи

Ночь всё меняет. Сад трогает тебя чёрными ладошками, ловит лицо натянутой паутиной, бросает за шиворот паучка. Чьи-то цепкие руки хватают за ноги и крадут сандалик. Красные ягоды наливаются чернилами. Огурцы и те будто измазаны сажей – висят баклажанами. Золотой ранет – обуглился, яблони шумят – шепчутся друг с другом. Близкие люди становятся чужаками. Я не узнал бабушку, которая показала на тропинке. Потом увидел, как за забором покачнулась огородное чучело в шляпе и засеменило к дому. В мутном свете окна оно вдруг превратилось в соседа. Чудеса!

Как-то ночью на дачу нагрянули дядины друзья, все под хмельком. Дядя достал с чердака припрятанную рыболовную сеть, и они отправились в залив. Бабушка принялась стряпать. Я проснулся и присел рядом с ней. Шипела и брыз-

гала сковорода, одно яйцо покатилося и разбилося, мука просыпалась на носки бабушкиных чувяков.

Вскоре в саду слышались голоса. Из тьмы начали выныривать лица. Парни как будто бы снимали с голов чёрные чулки. Все были мокрые, от них пахло тиной, видимо, когда шли с бреднем, то проваливались в ямы. В круге света с грохотом появились три ведра, полные выпрыгивающей краснопёрки. Тут же принялись чистить в две руки, чешуя летела во все стороны – снежком.

Утром ночных гостей и след простыл, только чешуя на траве да мокрая сеть на заборе говорили, что это был не сон.

Как-то в разгар лета мы вернулись в город посреди ночи. Не помню, почему так припозднились, кажется, ждали машину. Я вошёл во двор и не узнал его. Это была чаша, наполненная до краёв пряным запахом конопли, которая вымахала с человеческий рост. Чаша дрожала от сверчков. На втором этаже купеческого дома горел абажур, казалось, он плыл по ночному дворику и его, подпрыгнув, можно поймать, как мяч.

Я трогал ладонью бревенчатые стены, и они были тёплыми. Дом был живым. Летом он пах иначе, нежели зимой. Дерево за день пропитывалось солнцем и ночью слезилось смолой. В комнатах дышалось легко...

Вспомнилось, как в 1970 году мы с мамой поехали к морю. Поезд «Казань – Адлер» пришёл на станцию Лоо глубокой ночью. Мы, сверяясь с бумажкой и спрашивая редких

прохожих, нашли тот дом, где должны были жить (1 рубль за топчан в комнатухе с оконцем под потолком). Не решаясь будить хозяев, тихо расположились в беседке до утра. Она была вся увита виноградом. Нас тотчас окружили сотни светлячков. Они медленно передвигались, как будто ползали по воздуху. Некоторые приближались к лицу и с любопытством освещали его.

Весь сад был погружён во тьму, и только в беседке творилось невероятное. На рассвете сказочная беседка превратилась в обычный навес из ржавого железа.

Перед отъездом я налил море в баночку из-под витаминов и привёз в Казань. Соседка Маша с дочкой Валеёй рассматривали её на свет и пробовали море на язык. Море для них было загадкой. Что это? Какое оно?

В тот год все казанские девушки распевали песни из музыкального телефильма «Песни моря» с Натальёй Фатеевой и румынским актёром Даном Спэтару. На море мечтала поехать каждая советская семья. Но у тётки Маши сильно пил муж – дядя Володя. Два раза в месяц, в день аванса и полочки, в нашем чешском серванте от страха дрожала вся посуда – это за стенкой дядя Володя бегал за тётёй Машёй. В это время Валя сидела у нас, сжавшись в комочек, и делала уроки.

Дверь в детство

Во сне я открыл входную дверь в свой дом на улице Тихомирнова. Ощутил её вес и вспомнил запах в сенях – сладковатый, пыльный. На деревянных ступеньках всегда были кляксы от коромысла, и ступени попискивали, как котята. Вошёл в свою квартиру, а там стол накрыт. Бабушка гремит на кухне кастрюльками. Окошко распахнуто в сад. Шторка бултыхается. Солнце, пропущенное сквозь осенние листья, наполнило мой сон. Вдруг яблоня с шумом осыпалась и золотые шарики запрыгали по земле, освещая сад снизу. Я зажмурился!

Сам Пушкин разрешил

Помню, когда я пошёл в первый класс, мама принесла домой томик Пушкина в истёртом кожаном переплёте. Я листал, разглядывая гравюры под пергаментом.

И вдруг увидел своё имя. Потрясённый, прочёл по слогам: «Играй, Адель, не знай печали...». Надо же, сам Пушкин ко мне обращался! Если мама сердилась: «Хватит играть, садись делать уроки», то Александр Сергеевич, наоборот, разрешал. Во дела! С возрастом строчка эта обрела более глубокий смысл – «делай всё весело, играючи. Живи радостно!»

Таково было напутствие Поэта...

Ботинки с конфетами

Я вышел во двор, на крыльце лежали огненные кленовые листья, припорошенные снежком. Осторожно спустился по скользкой лестнице, обходя эти тарелочки с пломбиром. Но раза два всё же оступился. Они хрустнули. Было жаль такой красоты!

Я пробирался сквозь ломкий стеклянный воздух. Женщина с авоськой, в которой звякали сосульки пустых молочных бутылок, не могла открыть ворота на улицу. Я стал помогать плечом, но силёнок было маловато. Ворота сковало льдом. Вылезали через дыру в заборе.

Все надеялись, что это ещё не зима, что это баловство и снег растает под осенним солнышком, но ночью ударили морозы покрепче, как будто бы декабрь заглянул в гости к октябрю и решил остаться. Утром меня ждали на пороге новенькие зимние ботинки на толстой рифлёной подошве и в каждом из них лежало по конфете «Мишка на Севере».

Я догадался, что это папа ночью вернулся из командировки в Москву. Он ещё крепко спал, и все говорили шёпотом.

Подкова Тамерлана

Подкова местами отшлифовалась до блеска и скользила по грязи, как лысая автомобильная резина. Усталая лошадь сбросила её с ноги и пошла дальше, прихрамывая. Подобрыв подкову на обочине, я размечтался, представив себе играющие на солнце мускулы чёрного аргмака, который жевал ромашки. Лепестки залепили ему губы. Скинув железо с копыт, он рванул в степь вместе с майским ветром. Имя появилось сразу – Тамерлан!

Помню, как ранним утром по пятикилометровой дамбе у деревни Отары, которую возвели близ Казани от большой воды с Волги, шли-тянулись бесконечные подводы – скрипя колёсами, брэнча бубенчиками под дугой, стуча пустыми вёдрами, прикреплёнными к облучку. Лошадки, как хохлушки, были украшены разноцветными лентами, в гриву вплетены полевые цветы, чёлки кокетливо подстрижены. Оглобли и дуги свежевыкрашены, в телегу на сено брошено старое лоскутное одеяло. Баянисты, разминая пальцы, пробегались туда-сюда по гладким кнопочкам, похожим на таблетки, громко зевали, и заодно с ними раскрывали свои алые рты немецкие аккордеоны. Татары в телегах шумели, приодетые к празднику. Белые пятна рубах, бликуя, мялись снежными комьями, вышитые золотым гарусом тёмно-зелёные распахнутые жилетки топорщились на ветру, как жёсткие крылья

июньских жуков. Скуластые, жилистые, уже закопчённые с мая месяца лица светились в предвкушении байрама⁵.

Тюркская узкоглазость – следствие палящего солнца, степной пыли, знойного ветродуя со стеклянным песком или февральского со льдом, а ещё хитрой ухмылки, которая стягивала морщинками виски. По таким открытым лицам, как по школьным тетрадкам, легко читается вся монотонная жизнь сельчанина с единственным путешествием – в армию. О службе в отдалённом гарнизоне, о том, как особенно изощрённо мучил татарина-солдата свой же татарин-сержант, в сотый раз, пыхтя папироской, пересказывали на завалинке, смакуя подробности. Вот это было событие!..

С шести до девяти утра скрипели телеги, съезжаясь к Берёзовой роще у озера Дальний Кабан, где в июне устраивали городской Сабантуй. Под дамбой стояла наша дача – голубой домик, окружённый смородиной и малиной. Было мне тогда лет шесть. У дороги, за забором, мелко шумели раскосыми листочками старые ивы, и в проёме деревьев, как на сцене, ехал и шёл, приплясывая, весёлый народ. Я выносил складной рыболовный стульчик и смотрел на неизвестных мне деревенских татар, которые съезжались к городу. Пёстрая звенящая лента из нарядных телег тянулась и час, и полтора...

Соседи, Марзия-апа⁶ и Джапар-абый, бросали мотыжки и лейки, выходили из своих калиток и глазели на соплеменни-

⁵ Байрам (тат.) – праздник.

⁶ Апа (тат.) – обращение к старшей по возрасту женщине.

ков, с которыми они давно уже утратили связь, отгородившись холодными панелями хрущёвок со всеми удобствами.

Обратно с Сабантуя телеги возвращались в разнобой. Казалось, что и лошадки были пьяненькими. В телегах, прямо на мягкой горке из городских булок и бубликов, вповалку спали татары, утомлённые жарой и весельем. Бубенчик усталобубнил. Гармонь, вырвавшись из ослабевшей ладони, выплёскивала в горячую дорожную пыль торопливую кучу звуков. Иногда кого-то теряли, а потом возвращались и кричали осипшими голосами, рыская в тальнике вдоль дамбы: «Гайфулла, син кайда?»⁷ или «Акрамбай, тавыш бир!»⁸

А утром мы с пацанами находили на дамбе медные деньги, ключи от амбаров, мятые тубетейки, а ещё рассыпавшиеся и расплющенные карамельки. Кисло стягивало зубы жёлтое тельце конфеты с лимонной начинкой. Для меня это был вкус Сабантуя!

Когда я уже заканчивал школу, телеги с татарами куда-то пропали. Редко-редко проскрипит колесо по пыльной дамбе. И осталась у меня от того времени и мифического народа лишь погнутая и истёртая подкова. Глядя на неё, опять слышу грустный баян и озабоченные голоса, которые ищут вывалившихся из телеги закадычных приятелей Гайфуллу и Акрамбая. Кажется, их тогда так и не нашли.

⁷ Гайфулла, син кайда? (тат.) – Гайфулла, ты где?

⁸ Акрамбай, тавыш бир! (тат.) – Акрамбай, отзовись!

Нижний Услон

Помню солнечный день на макушке лета. Волга слепит. На текучем серебре реки чернеют поэтичные джонки. Приближаясь к берегу, они становятся мятыми дюралевыми «Казанками» с бортами в чешуе и чихающим мотором. Река вместе с облупленным бакеном, грустно постанывающей на канатах пристанью, тяжеленным бушлатом с мокрыми рукавами... – всё пропахло лещами. Иногда одна из рыбин, очнувшись, пускалась в отчаянный пляс по дну лодки, опрокидывая банку с вялыми червями, которые на солнцепёке быстро превращались в погнутые гвоздики.

Гуляя по пляжу, я наткнулся на исполосованную винтами баркаса тушу сома. Измерил – семь шагов. Он возлежал, толкаемый в бок волнами, рваный смокинг его лоснился на солнце, усы шевелились. Вороватая ворона, боясь его и постоянно отпрыгивая, тянула из брюха кишки. Сом вонял всё лето, пока от него не остался лишь «доисторический» хребет с черепом.

Я открывал для себя эти неведомые берега, и было мне тогда двенадцать лет. Вдали, на выцветшем холсте неба, покачивался нарисованный город. Там тренькали будильниками жёлто-красные трамваи, визжали студентки, застигнутые поливочной машиной врасплох (цветы на платьях шевелились клумбой), на фоне щита с целующимися Брежневым и

Хонеккером обнималась парочка.

А в русской деревне, всего-то в пятнадцати километрах от города по воде, жизнь замерла, как будто бы кончилась. После революции здесь заработал маломощный консервный завод, где делали кислую солянку и креплёное вино из гнилых яблок, которое продавали в трёхлитровых банках с косо наклеенной этикеткой. Свет в домах мигал и был мутен. Наверное, так светила лампочка Ильича. За молоком жители выстраивались в магазин с пяти утра. Жили бедно и лениво, за рассадой и то ездили в город на омике, оттуда же привозили мешками хлеб и водку. О прошлой жизни волгарей, окунавших новорождённых младенцев в лохань с чёрной стерляжьей икрой, до сих пор рассказывали сказки богатые фасады крепких домов на крутом берегу с потемневшими колоннами и балконами, похожими на палубы, где когда-то дымил маленьким парходом самовар. В блюдца важно опускались расколотые щипчиками кусочки сладкого мрамора, и тот темнел, разбухал и таял шугой во рту.

А внизу Волга лизала глинистый берег, прикидываясь верной псиной, но раз в году, весной или осенью, взбесившись, волна опрокидывала лодки, топя рыбаков. Выловив утопленников, их тянули в сетях к деревне. Они лежали на мелководе ничком и были похожи на сомов. На берегу причитали чёрные женщины...

Бабушка купила на самом краю деревни избу со всем скарбом сразу: мрачной керосиновой лампой и лукошком

с запёкшейся кровью вишни, ненадёванными подковами и ржавым якорем, растяжками для сушки кроличьих шкурок и притихшей люлькой на крюке под потолком, дымарём пасечника и кованым сундуком, в котором мыши «читали» всю зиму толстенную Библию, оставив горстку бумажной трухи и чёрный мышиный рис...

Хозяева исчезли внезапно. Бабка померла, сын утоп, внук подался на Север за длинным рублём, так что продажей занимался дальний родственник. Когда отпёрли избу, свет, вбежавший вместе с нами в сени, осветил средневековое жилище русского крестьянина, оставившего соху и пересевшего в лодку. Люди сгнули, а запахи остались. Они как бы соснули, но стоило только приподнять стёганое одеяло, отсыревшее за зиму, как тут же просыпались. Я понял, почему Пушкин, заглянув из любопытства в русскую избу, потом пускал коня галопом по полям – он проветривался!

Я скрипел половицами и трогал пыльные вещи. Пахла сладким кагором иконка, писанная на стекле и нехитро украшенная фольгой. Бабушка её тут же выставила на улицу, чтобы кто-нибудь забрал. Из зева холодной печки кисло несло копотью, но когда в ней затрещали берёзовые поленья, она, выдохнув по-бабьи «ах», окутала избу першистым дымком, который растёкся пластами.

Покупая пять стен с русской печкой и шесть соток запущенного сада с покосившимся забором, бабушка, не ведая того, купила сливовое небо с крупными звёздами-антонов-

ками, стучащими по крыше, серебряный осколок реки в крапиве и еловый ветер, который накатывал внезапно из-за холма. А ещё пьяного соседа, который клянчил деньги...

Мы были здесь первые дачники. Как-то прошлись по деревне в сторону сельмага, и какие-то глуховато-бородатые старики, тыкая в нашу сторону клюками, прокричали друг другу в уши: «Татары приехали! Оне свянину ня ядят, водку ня пият».

Но бабушка быстро нашла общий язык с местными. Утром пекла очпочмаки⁹ и, накрыв их в китайском тазике «Дружба» салфеткой, угощала артель высокомерных статных рыбаков. Они причаливали к мосткам часов в семь утра и начинали молча выпутывать из сети жабры лещей. Мелочь бросали в алюминиевые поддоны и отправляли в магазин на реализацию, то, что покрупнее, уходило налево. Ну а отдельные экземпляры, достойные краеведческого музея или ресторана речных деликатесов, оказывались на полу нашей дачи. Красавцы-лещи, отливая кольчугой, скользили в сенях от стенки к стенке, забивая хвостами метровую щуку, завёрнутую в лопухи. Стерлядки любопытно высовывали носы из ведра. Помню, как бабушка потрошила им белые животы. Чёрная икра в золотистой плёнке быстро наполняла эмалированную кастрюльку. Сверху на неё снежком ложилась крупная соль...

Как-то огромный сом, пролежав сутки (ждали, когда

⁹ Очпочмак (тат.) – пирожок в форме треугольника.

уснёт), выбил нож из рук бабушки и дал ей такого леща, что она отлетела в угол. Сбегала к соседу, и тот явился, косматый, с большим топором. За работу палачу дали голову.

Потихоньку вслед за нами в деревне стали появляться и другие дачники. Угрюмые бушлаты и телогрейки потели рядом с яркими шортами и майками. Однажды, о чём потом долго судачили местные тётки, в сельмаг в одном купальнике вошла девица, но ей ничего не продали. Выгнали взащей, как полуголюю из храма. Махровая деревня опешила от нашествия казанцев. Повсюду бойко застучали молотки, расцвели странные цветы и садовые культуры. Не ведали здесь до сих пор о существовании облепихи, кабачков, патиссонов, болгарских перцев и брокколи. Им и репки хватало!

Вскоре на нашем участке появился шабашник. Он разобрал баньку, которая стояла впритык к избе, чтобы собрать её в дальнем углу за крыжовником. Затем отодрал полопавшийся шифер и прогнившие доски на крыше дома, снял тяжёлые ворота, которые просели, взял аванс и... исчез.

– Такое с ним бывает, – успокаивали знающие соседи.

И вот, натягивая на щели в крыше целлофан, я нашёл в чердачном хламе амбарную тетрадь, прошитую суровой нитью. В ней лежал забытый химический карандаш. Кто-то оставил на первой странице загадочную запись: «17 авг. Угрим исчо пуд соли взял. Вернуть обещалси хвостами».

Я не удержался и тоже кое-что написал. Так у меня появился дневник: «Наконец-то мы на даче! Добирались на

машине, было много вещей. Жарко. Проехали погост, где лежит наш сосед, замёрзший в крещенские морозы в собственном огороде. Ухабистая дорога, крапива с человеческий рост, побеленный известью магазин. Мужик в мятом пиджачке тащит мешок с визгливым поросёнком. Кажется, всё так и было сто и двести лет назад».

Пыльный свет чердачного оконца освещал листья, вобла золотилась на проволоке, бабочка-капустница устало билась о стекло. Я точил стёклышком карандаш...

«На чердаке от прежних хозяев остался шестилитровый самовар с медалями на груди. Я почистил его крошкой красного кирпича, залил родниковой водой, растопил шишками, даже приготовил яловый сапог, но он не понадобился. Когда кончили пить чай, туляк всё ещё пел на радостях свою полузабытую самоварную песню. Глядя в его медные бока, я думал, что вот когда-то в них отражались иные лица, растворившиеся теперь, как кусочки сахара в бездонном стакане столетий. А сейчас отражаюсь я. И всех-то, даже худых, самовар щедро изображает по-кустодиевски краснощёкими и жизнерадостными. Было очень жаль, когда его у нас украли».

Осенью, уезжая в город, я забыл амбарную тетрадь у печи. Где-то в ноябре в дом за своим инструментом залез шабашник. Видимо, продрог, решил погреться. Развёл огонь в печке моим дневником, только одна страничка уцелела, отлетев в сторону, как осенний лист...

Клюка Аглаи

Школьные каникулы я проводил на Волге. Рыбачил, ковырялся на грядках. Бабушка просто так поваляться не давала. Часов с шести, прошептав намаз, начинала нарочно громыхать вёдрами у распахнутого окна. Июльское солнце было с ней заодно, жгло своей лупой мне плечо. Горячие зайчики прыгали через меня и исчезали в распахнутых для просушки сундуках. Бабушка, кряхтя, поливала помидоры. Можно было услышать, как мясистые «бычьи сердца» жадно пьют воду.

Я отмыкал на воротах амбарный замок и шёл купаться. Обычно в этот час народу – никого, и я входил в воду нагишом. Но в тот день на берегу с глубокими порезами от хребтов дюралевых лодок сучали двое. Один милиционер в штанах, другой в юбке. Увидев меня, заспанная тётенька в пилотке даже обрадовалась. Подошла, представилась следователем Огурцовой и поинтересовалась, есть ли у меня лодка. Я показал на перевёрнутый у пристани ялик. Не объяснив толком ничего, Огурцова сказала, что они с участковым сейчас пойдут по берегу, а я должен буду грести за ними. Безропотно подчинился. Весь берег завален острыми камнями, на нём корчатся седые пни-осьминоги, среди которых вьётся узкая в одну ступню тропка. Гребу-гребу и вот вижу, как следователь, наклонившись к тёмному продолговатому

предмету, подзывает меня. Оказалось, что какая-то старуха с малиновым узелком шла из одной деревни в другую и померла. Рядом валялась клюка.

Описали, как полагается, содержимое узелка: деревянный гребешок, иконка в тряпиче, вышитой крестиком, а в носовом платочке денежка – скомканный николаевский бумажный рублик и медные монеты тех же лет. Прямо какая-то древнерусская старуха, выпавшая из времени!

Огурцова командует, чтобы милиционер взял покойницу за подмышки, а я – за ноги. Нагнулся, но взять не могу. Руки отказываются. Огурцова отстранила меня и сама ухватилась за синие лодыжки. Уложили старуху на мокрое дно лодки с раздувшимися червями, оставшимися после вечерней рыбалки, и я погрёб обратно.

Стараюсь не смотреть на белое пятно лица, но оно покачивается у самых моих ног, приближаясь от резких гребков ко мне ближе и ближе. Брызги из-под весла орошают мёртвые щёки. Это слёзы текут. И вдруг я с ужасом замечаю, что старуха смотрит на меня!

Боже, никогда ещё я не грёб с такой прытью. Лодка летела через Стикс. Но мозоль жжёт, весло соскальзывает. Огурцова идёт по берегу и бросает на меня презрительные взгляды. Сузившиеся зрачки старухи пытаются: кто я? куда везу? Я – Харон. Шлейф брызг накрывает меня сверху. Истекаю, отфыркиваясь, как щенок. Огибая мель, выправляю по чёрному бакену лодку и несусь к фарватеру. Надо было по крас-

ному! Кручусь на месте. Огурцова, кажется, крутит у виска. Слышу, как на грузовике с лязганьем откидывают борт.

Наконец мятый нос уткнулся в берег, старуха летит на меня, я вываливаюсь из лодки на кишки и чешую. Рыбья кость впивается в задницу.

Мужики легко, как высохшее на солнце брёвнышко, поднимают старушку. Один подмигнул мне: «Не приставала?»

Затаскиваю лодку, сажаю на цепь. Переворачиваю, и вдруг из неё выкатывается мокрая клюка. Кора орешника покраснела. Коленце сучка совсем отполировалось ладонью. Верчу её в руке, намереваясь метнуть в воду, и тут вижу аккуратно вырезанный крест, а под ним буквы: «Раба божья сестра Аглая Мокея дочь из Теньков. Ходи до смерти!» Хочу догнать следователя, но узик, газанув, исчезает за поворотом, закрывшись от меня шторкой пыли. Бреду домой. Втыкаю клюку у забора за большим смородинным кустом. Прячу, она же с крестом!

Бабушка сдёргивает салфетку с солнечных блинчиков, ловко зашибает ладонью объевшуюся мёдом осу и уходит к своим помидорам. Я накрыл блинчики и взял мотыгу.

– Где ты был так долго? – не разгибая спины, спрашивает она.

– Купался, – вру.

– Срежешь мне палку, а то нога болит, ходить не могу.

Вырезаю из вишни, даже украшаю: виноградная лоза вьётся вверх и по палке русалки ползают, как улитки, но в

лифчиках. Правда, всё это вышло мелко, и бабушка не может разглядеть. А припрятанная клюка Аглаи через две недели вдруг выстрелила листочком. Потом две веточки проклюнулись из мёртвой палки. Через год это было уже деревце со слезящимися письменами на красной коре: «Ходи до смерти!»

«Скворечник» дяди Миши

На этот «скворечник» я давно положил глаз. Добротного сколоченный из того, что река весной выносит на берег с мусором, он был виден лишь в начале апреля, а затем исчезал на всё лето в густой листве, растущей вниз. Не один я любовался им. Мужики, попыхивая папиросками, глядели на домик, прилепившийся к утёсу с какой-то грустинкой, которая была вызвана давней несбыточной мечтой. От Казани прикладываясь к горлышку и матюгаясь, они в этом месте сразу притихали и уходили в себя. Кто его сделал? Кто там живёт? От кого прячется?

Омик с лёгким креном из-за высыпавших на правый борт пассажиров шелестел вдоль берега, аккуратно разрезая акварель с пушистыми ивами. Пять минут красоты, и вот уже снова надо ползти к своим дачам, где гадюками извиваются шланги и помидоры, наливаясь кровью, тяжелеют на кусте. А настырный хрен проклюнулся даже под крыльцом, выбив ступеньку, как зуб!

Однажды, в самый разгар посадки рассады, моя бабушка разогнула спину и увидела знакомую, которая шла налегке с пристани.

– Марьям, сэлам! – окликнула. – Ты чего, уже всё посадила, да?

– А я в этом году ничего сажать не буду! – огорошила та

и обмахнулась веером-книжкой.

– Болеешь?..

– Не-а, просто не хочу! – был ответ.

– Абау, – только и смогла произнести моя бабушка, что означало высшую степень удивления.

Но я смотрел на уходящую в сизую дымку Марьям с восхищением! Вся деревня стоит раком, а она идёт, порхая, с книжкой под мышкой.

...Чтобы добраться до «скворечника», надо было вскарабкаться на скользкие валуны, скатившиеся лет пятьсот назад к Волге, потом, цепляясь за корни диких вишен и разные колючки, пройти козьей тропкой по выступу. После поднырнуть под кривые татарские берёзки и там, передвигаясь на четвереньках в качающемся от ветра коридоре, выйти на первую террасу и ослепнуть. Вид отсюда был обалденный!

Эх, надо было снять перед Волгой-матушкой шапку и поздороваться, а я забыл, и тогда мою парусиновую кепку сорвало с головы, и она вмиг превратилась в летящую вдаль точку. Впереди ещё две террасы, но я их уже не взял. Подошвы штиблет соскальзывали, камушки, собираясь в струйки, текли по морщинам утёса и падали в серебро.

Летом у этих валунов, похожих на гигантские шампиньоны, я частенько замечал с палубы седого старика в выцветшей гимнастёрке. На нём была панاما с бахромой, какую носил Утёсов в фильме «Весёлые ребята». Он сматывал удилища и уходил куда-то наверх. Я понял, что это и есть тот са-

мый таинственный «скворец». И вот как-то, опоздав на свой омик, я сел на последний, который шёл ночевать в Верхний Услон. Оттуда до моей станции только один путь – по берегу. По камням, перелезая через сказочные пни-осьминоги, будет часа полтора, не меньше. Быстро темнело.

Через час на дороге вырос огромный гриб, он зашевелился. Красная спичка под шляпкой осветила лицо, и я узнал седого старика. Он уже собрал манатки, в тяжёлом кукане хлестали по щекам злобную щуку жизнерадостные подлещики, невидимая уже банка из-под червей гремела под ногами.

– Ого, – присвистнул он, когда узнал, откуда держу путь. – Закуривай, марафонец! – старик достал латунный портсигар с профилем Пушкина на крышке.

В сумке у меня булькнуло. Эту бутылку коньяка я вёз бабушке поднимать давление. Не довёз. Приземлились на ещё тёплый камушек. Старика, которому было всего-то, наверное, пятьдесят, звали дядей Мишей. Мы приняли из горлышка за знакомство.

– Как же туда полезешь? Здесь альпеншток нужен! – кивнул я на утёс.

– У меня, парень, верёвочная лесенка от самого крыльца к воде спущена. Вон, конец болтается... – выдал секрет дядя Миша и, защёлкнув портсигар, постучал им по ноге. Раздался деревянный стук. – Культя! – радостно сообщил он. – Винтами отсекло, когда Волгу на спор переплывал.

Но лазил он как обезьяна на одних только руках! Я же все

ладони и колени изодрал... И вот сижу на его крыльце и болтаю ногами, как пьяный ангел в ночи. Один штиблет так и улетел. Долго ждал, когда внизу раздастся шлепок.

Звёзды исцарапали всё небо. Штопорный ветерок приподнимал моё тело, и уже казалось, что я лечу над чёрной рекой с медленными огоньками пароходов. Волосы шевелились от страха и восторга. Я вцепился в рукав дяди Миши.

– Не бойсь, малец, я отсюда три раза падал! По пьяни, конечно. Но не долетал. За коряги цеплялся. А потом, просто надо умеючи падать. Смотри!.. – Он накрыл голову пиджаком и присел, готовясь к показательному прыжку. Но чего-то передумал и принялся лихо выбивать чечётку, крутясь на культе, как на циркуле. Крыльцо ходило ходуном, а единственная свечка на тарелке, проскакав по фанерному столику, прыгнула в пропасть.

– Там, за крыжовником, яма. Всё уходит туда без возврата! – махнул ей вслед дядя Миша. Натанцевавшись, присел рядом. – Чё, улетела тапка-то? – хохотнул и отпустил на волю пустую бутылку. – А какие тут воздуха парят, чуешь?! А завихрения?

И дядя Миша надул грудь и запел басом:

Прощай, радость, жизнь моя!

Слышу, едешь без меня.

Знать, должён с тобой расстаться,

Тебя мне больше не видать...

Волга замерла, прислушавшись, и точно в нужное место вставил в песню свой гудок невидимый пароход.

Дядя Миша достал измятый свадебный снимок у Вечно-го огня – всё, что осталось от прошлой жизни, и начал рассказывать про себя. В семнадцать лет, отпечатав стишки на машинке, отправился в Литинститут. Пришёл на экзамен хмельной, так как всю ночь гужбанил с одним московским мэтром («Вольшанский! Слышал про такого?»). Завалил, потом год шатался по столице, подрабатывая в овощных отделах грузчиком. Вернулся в Казань, поступил на филфак. После первого курса исключили за прогулы, забрили в армию. Там замполит нашёл в его тумбочке трактат о возможности соединения коммунизма с анархизмом. Положили в психушку, а через три месяца комиссовали. Вернули матери. Каждый день она ему выедала мозг...

Чтобы убежать от неё, женился на первой встречной с квартирой, но через месяц понял, что сбежал из одной тюрьмы в другую. Долго обдумывал план побега. Однажды на пикнике, когда жена с тётшей и тестем пошли накрывать поляну («Три толстяка!»), оставил ботинки и одежду на песочке, а сам, перемахнув через залив, запрыгнул в лодку, которая волочилась на канате за гружёной баржой. Хотел уйти в Астрахань, а может, и на Каспий, но, когда баржа шла этими пугачёвскими местами, понял, что волю и глухомань можно и неподалёку тоже найти – под самым носом у Казани.

Я слушал его, трезвея, и вдруг меня осенило. Я понял, что

это он про меня рассказывает! Узкими азиатскими глазами душу мою разглядывает, ковыряет чёрным ногтем, выуживает из меня ржавым крючком и мне же самому мою жизнь излагает. Ловко придумал, сволочь! Но ведь я об этом только мечтал втайне, ярко во всех подробностях представляя, а он – сделал!

Я вцепился в перила крыльца, летящего с посвистом, как капитанский мостик каравеллы над ночным морем. Звезда рассыпалась окурком у моих ботфорт. Поскользнувшись на медузе, я полетел на грязный матрас. Отстёгнутая культя весело, как обезьянка, прыгала по палубе. А дядя Миша хохотал на мачте, влезая в петлю одиночества, которое он обрёл на безымянном утёсе, обманув судьбу-злодейку.

Мопед Мубарака

У всех были добротные ворота и калитки, а у него – голубая дверца от «Москвича». Сначала надо было отодвинуть коленом вислоухие лопухи, похожие на слоновьи уши, затем раздвинуть малину и прижать дверцей ржавую крапиву и тогда уж пробежать к крыльцу, поскользываясь на скороспелках-гнилушках. Бежать следовало быстро, потому что навстречу тебе гремела цепь волкодава. Нет, волкодав был первейший добряк, однако любил поиграть своими какашками, а потом положить огромные мокрые лапы тебе на плечи и скулящими глазами спросить: «Ну как дела, чувачок?»

Но больше всего в тот день я переживал за тёмные прыткие бутылки, готовые выскользнуть пингвинами из потных ладоней. Как бы не кокнуть!

Тем летом всю страну иссушил, испепелил сухой закон, а здесь, в покосившейся избушке сельпо татарской деревни Биштенге, вдруг выбросили настоящее розовое шампанское «Мадам Помпадур». Восточная сказка! Я их девять, «мадамов», и купил. Ещё снулый от жары батон бумажной колбасы, банку килек, кулёк пряников – на всю стипу.

В Казани это шампанское смели бы махом, а здесь оно грелось, пронзённое зайчиками, выпрыгивающими из чёрного ведра уборщицы. Низкорослый кривоногий народец с буханками оборачивался на меня, единственного покупателя

ля этой дорогой и никому не нужной ерунды.

С июльского жара (даже яблоки на ветвях висели запечённые!) нырнуть под козырёк крыльца в прохладную норку было одно удовольствие. Рубашка потихоньку отлипала от спины, джинсы, как самоварные трубы, остывали, носки мокрыми мышами уползали в угол. Красота!

Пьём исключительно из старинных бордовых бокалов не ради эстетства, просто прощальная гастроль Мубарака на земле предполагает роскошество. На пластмассовом подносе появляется несуразная в данном случае горка редиски, коготки молодого чеснока, ломти колбасы и стеклянная чернильница, превращённая в солонку. Не забыл хозяин и про своё лакомство дембеля – пряники, которые он макал прямо в банку с килькой в томате. Вкуснотища!

Мубарак сворачивает одной «Помпадур» голову. Та шипит на него злобно. Что-то покрепче ему пить не разрешалось. У него – белокровие. Из пробок от выпитого за июнь «Салюта» он уже смастерил оригинальное жалюзи и повесил на входе. Приятно, входя, погреметь. Прямо как будто в старый кабачок «13 стульев»ходишь: – А вот и я, пани Моника. Здрасьте!

Главное, не покатиться на пустых бутылках, которые озвучивали ксилофоном каждый твой шаг. Попискивающий пол был весь с буграми, оттого что поблизости росла двухсотлетняя ива и своими корнями-осьминогами приподнимала лаги. В неглубоком погребке под кухонькой пушистые щупаль-

да лезли во все щели за трёхлитровыми банками домашних солений. Там же в сырой нише, в обрамлении новогодней мишуры, стояла католическая Мадонна, грубовато вырезанная из деревянной баклашки. Мубарак спускался к ней по вечерам, зажигал толстые огарки и минут пять стоял на коленях. Потом вытаскивал из-за Мадонны бутылку с полынным чаем и «чистил кровь».

Наверху в спальне изголовья лежал в истёртом кожаном бабушкин Коран, и повсюду, даже в бане, были развешаны шамаили с мечетями, вырезанными из фольги от шоколадок. В буфете сидел фарфоровый пёсик, которого Мубарак называл «Святым Христофором» и подкладывал под него денежку. Обязательно должна быть новенькая. Молился он своим богам нагишом. Объяснял, что перед силами небесными человек должен стоять в чём мать родила.

Соседи смотрели на Мубарака с ухмылочкой. Не общались, на свадьбы не приглашали. Не позвал и родной сын. Забор, которым он отгородился от отца, был глухой. Мубарак только по голосам понял, что стал дедушкой...

Интересно, как он к внуку свою любовь проявлял. Проходя мимо, как бы невзначай, перебрасывал на «вражескую территорию» золотой ранет, который плодоносил только у него прозрачными райскими яблоками с плавающими косточками внутри.

В воскресные дни, помолившись, Мубарак облачался в тёмно-вишнёвый халат с зелёным пояском, натягивал узкие

сафьяновые ичиги, нахлобучивал малиновую феску с кисточкой и не спеша, ханской походкой, направлялся в гараж. Внутри в бензиновом сладком облачке стоял одинокий экспонат – мопед «Рига-11». Мубарак сдёргивал попону – красный прикроватный коврик, и несколько минут любовался техникой, что-то подкручивая, подтягивая, где-то подтирая салфеткой. Мопед был как будто бы целиком отлит из золота. После покупки Мубарак разобрал его и возил по частям на Казанский вертолётный завод к приятелю, который работал в гальваническом цехе. Тот хромировал детали и покрывал золотой эмульсией. Собрав мопед обратно, Мубарак начал его украшать, как туземного вождя. К каждой ручке прикрепил по пять зеркал заднего вида и повесил два лисьих хвоста от воротника маминой шубы. Седло обшил каракулем. Сзади на шесте закрепил новогоднюю звезду и обмотал багажник гирляндой. На крылья наклеил крупные алмазы. Сбоку у бензобака повесил транзисторный приёмник «Турист». Индюшиные перья распушил веером над фарой.

Подняв пыльную завесу в деревне, Мубарак устремлялся в Казань. Как-то он взял меня с собой, и я стал свидетелем, как советских граждан, облачённых во всё серое, неброское, хватал на улицах столбняк. Они разглядывали мопед и светлели лицом. Мубарака узнавали и махали ему с тротуаров, как Гагарину.

В конце августа я уезжал с филфаком на картошку. На прощанье мы распили с ним последнюю «Помпадур», а ко-

гда я вернулся, он уже лежал на мазарках. Быстро сгорел! Никому не нужный добрый волкодав играл у сельпо своими какашками. Я купил ему пряников, колбаса кончилась, а себе на талон – бутылку «Имбирной». Покрутившись возле дома Мубарака, притулился на какой-то трубе и помянул...

Уходя, всё же не удержался и заглянул в сад. Под яблоней была свалена в кучу старая мебель, на тахте лежала Мадонна, треснутое зеркало разрезало мокрый сад пополам. По земле были разбросаны книжки и виниловые пластинки. Окна – нараспашку. Во дворе сын Мубарака сосредоточенно обди-рал с золотого мотоцикла лисьи хвосты...

Сверчки

Рауф забрался на холм и упал в ржавую траву, взъерошенную волжским ветродуем. Старый почерневший кузнецик вылез на мостик стебля, сложил лапки, чтобы помолиться, но не успел – оочурился. Откуда-то из спутанных извилин выскочили стишки, которыми Рауф баловался в юности.

Умирили сверчки от холодной росы,
пчёлы сыпались в тёмный шиповник.
Собирал помидоры садовник,
в горьком дыме желтели усы.

Тощих тетрадок с кривыми столбцами было всего две. Одну автор подарил первой жене – Мадине, вторую измусолил и потерял баянист Фаннур, пока перекладывал строчки на свой «фирменный» мотив, который всегда заканчивался убегающими по кнопочкам пальцами: «прыбабаба-па».

Рауфу нравилось, что человек искренне старается, переживает, чуть ли не рыдает над его «свершками». Этот романс был хитом на деревенских свадьбах. Невесты слёзки роняли в оливье и целовали Фаннура под косые взгляды пьяных женихов. Потом он повторил судьбу сверчка – заснул, нырнув в дырявый шалаш бродяги с матрацем из первого снега. Это произошло за придорожным кафе, где гуляли. Утром он был как мрамор, с белыми пальцами, притопившими кно-

почки клюквы, проросшей в шалаш. Баян в руках участкового, хрустнув ледком, спаявшим меха, выдал вступление к «Сверчкам», и в остекленевшем воздухе пробежала трещинка грусти с запашком вчерашней водки. А берёза поблизости с обледеневшими листочками аж вздрогнула, как сервант с рюмками во время драки. Прощай, Фаннур!

...Внизу от пристани отчалила пустая мошка. Рейсы в будни сильно сократили, дачники с октября ездили только по выходным. У окна сидела женщина в голубином платке. Она внимательно посмотрела на Рауфа и вдруг помахала ему. Он выдернул толстый стебель полыни с корнем и вдавил сношенные каблуки в землю, осыпав вниз камушки. Это же Машка! Её платок, её движения. Мошка, отфыркиваясь, затопала на фарватер. Рауф начал рассматривать руки, они были все в кладбищенской рыжей глине. Закопал он свою Машу и полез на холм.

Фазенда их стояла у самой пристани. С высоты холма она была как на ладони: рубероид лоснился от дождя кожей бегемота. Забор упал, и по нему дачники ходили как по мосткам, а на его месте вымахали лопухи. Попробуй пролезь! Единственная яблоня, как нарочно, бурно плодоносила райскими яблочками только левой своей стороной, которая вся вылезла на дорогу. Яблоки прыгали к пристани, торопились на рейс. Маша, должно быть, сунула парочку озябших себе в карман плаща.

В кассе молотком гробовщика стучала равнодушная пе-

чать...

Некрашенная будка уборной закачалась. В неё влезла непомерная тёща и там разворачивалась. Родственники суетились во дворе, все в тёмном, как налетевшие вороны. В избе накрывали поминальный стол. Включили днём люстру, распахнули окно. Вон Санёк на полусогнутых, звеня коленками, бережно втащил две спортивные сумки, полные водки.

Рауф тихонечко сползал с холма. Задница вся намокла. О том, что увидел Машу в окне мошки, он, конечно, никому не скажет. Померещилось!

...Все уже сидели и жевали. Он появился в дверях, как на сцене сельского клуба, и собрал сочувствующие взгляды. Двоюродная сестра жены Лидия посмотрела на него оценивающе, как будто ношеное пальто покойницы примеряла. Подвинулись, усадили. Подали кастрюлю с картошкой в мундире. Лида своими пальчиками положила ему в тарелку распухшую сардельку. Санёк, ответственный за водку, налил до краёв. Родня смолкла и уставилась на Рауфа. Знала, что завязал, и теперь желала видеть, как развяжет. Рауф послушно потянул пальцы к стакану. Движение, ставшее за десять лет трезвости непривычным. Холод водки входил в организм через пальцы. Бросил взгляд в окошко. Мошка на фарватере превратилась в «парус одинокий», Маша с палубы погрозила ему кулачком. Эхма...

Все вокруг бухали по-белому и по-чёрному, только они вдвоём, как старообрядцы, завели себе самовар, который Ра-

уф привёз из родного аула Пшенгер Арского района как память о маме. Получается, земляк.

Пучки чайных трав висели на гвоздиках в сенях, источая успокаивающие волны летних полянок и косогоров вблизи деревни с ласковым названием Улиткино. Древние волжане были поэтами, красивые имена давали своим поселениям: Нижний Услон, Ключищи, Теньки, Шеланга, Ташёвка...

...Рауф сделал вид, что выпил, даже произвёл два громких холостых глотка и задвинул за коробку сока полный стакан. Лишь пальцы омочил. Демонстративно пожевал резиновый грибочек, и за столом спокойно вздохнули – «ну, слава те, Госпади!»

Маша была другой, непохожей на свою родню. Мягче, что ли, лиричнее. Не орала, только плакала. Иногда он готовил какую-нибудь татарскую еду. То, что умел. Например, куриный суп с лапшой, которую крошил квадратиками, потому что паутинкой не получалось. За столом Рауф говорил жене: «Маша, аша!», то есть «кушай».

Он тихонько вышел во двор. За вишнями, отрясая спиной капельки дождя с веток, растопил самовар. За нарубленными дощечками в сарай идти не хотелось. Там дымили мужики. Поломал о колено помидорные шесты, содрал со старой вишни шкуру. И самовар начал оживать: потрескивать в нутре, затягивать степную песню. Ну чем не живое существо?! Над ним набрякшее небо посветлело, расступилось кружком. Рауф, чувствуя коленями тепло, слушал самовар-

ный плач, и вдруг лицо его сморщилось мочёным яблоком, скуксилось и брызнули слёзы. Соль зашипела на самоварной крышке, и тогда на надраенной латуни отразились двое.

– Рауф, не раскисай. Ты же мужик! Я тебя буду навещать, – пообещала Маша прокуренным голосом Лиды.

Самовар затрясло, и он откинул трубу – шипеть чёрным питоном в мокрой траве. Посыпал дождь, старый и безрадостный. Блёклая капуста до последнего держалась лапками за ветку, но точной горошиной дождя была сбита на землю. Лидия за рукав телогрейки потащила вдовца в дом, где хозяйничали чужие люди.

За печкой в тишине распределяли Машины вещи, выдёргивая их из вороха. Случайно присвоили свитер и новое трико Рауфа. Пахло столовкой и носками. Сквозняк бил по ногам. Рауф под видом водки глушил минералку. Но как будто бы опьянел даже.

Ночью закопался под два одеяла, носом, как ёж, отыскивал запах Маши. Почудилось, что подушка ещё тёплая, как будто бы жена встала посреди ночи и зашуршала, полупрозрачная, в холодные сени. Гладил вмятину. Сон прошёл. Рауф, прикрыв веки, начал смотреть кино про свою жизнь, которое для него одного крутил пьяный «сапожник». Плёнка рвалась, шла по простыне сикось-накось, чёрно-белая с рябью, но местами вдруг вспыхивала и становилась цветной. Вот они собрались с бухты-барахты и поехали с Машей в Варда-не.

– И куды попёрлись?! – кудахтала вслед тёща. – Ну прям кино «Печки-лавочки»!

Волна сразу же сдёрнула с Рауфа китайские трусы, а он этого и не заметил. Вышел на берег, как татарский Адам. Потом они со стыда пляж поменяли. Большие пушистые персики запомнил, как она ими, захлёбываясь, упивалась. Красивые косточки аккуратно складывала на подоконнике. Там он не пил, только домашний кисляк из баллона потягивал. А это не считается. Но дома сорвался. В кадре – стол с объедками, по которому бутылка катится, а под ним продрогший мужик кутается в скатёрку. Потом в избе появилась тихая иконка «Неупиваемая чаша». Запах лаванды по утрам туманом висел, и губы Маши шептали:

– О милосердная Владычица! Молитвы моей не презри, но услыши тяжким недугом пианства одержимых...

Десять лет – это срок. Чаша высохла, растрескалась, чуть сама не рассыпалась, и в ней паук издох – тот самый, который «зелёному змию товарищ». Затем запрыгали кадры про прежнюю жизнь – до Маши. Казань, белые рубашки. Не воздух, одеколон! Веер брызг из поливальной машины. Водила – монгол в мохеровой кепке, промазал по клумбе, зато дал струю по тюльпанам в вёдрах, заодно и по старушкам. Те завизжали, как девочки. Капельки прилипли к экрану, и тут же их смахнуло подолом платья. Студентка, похожая на Варлей, выпрыгнула прямо из вазона в голубом плиссированном колокольчике. Белыми ножками, ловко перебирая по ступень-

кам лестницы, взбежала к университету. Помахала ему сверху. Если чуток отмотать назад, то... Вот за поворотом они стукнулись лбами.

– Чё ты бодаешься, олень? – Она стояла красивая, с красной лампочкой на лбу.

Он ей соврал, что в универе химики разлили ртуть и все занятия отменили. Пригласил в новую пиццерию на углу Ленинского сада. Там, в кафе, они опять приложились, но уже губами. Вкус у Мадины был – «кофе с молоком». И он тоже тогда пил кофе.

Когда сын пошёл в третий класс, они, поднакопив деньжат, впервые поехали к югу – в Вардане. Зачем-то и Машу он потом туда же повёз! Даже отыскал ту самую харчевню, где аджичным огнём пылала его глотка, которую повар Сурен пытался залить прохладной «Изабеллой». Сурен умер, харчо стал жидковат, а вино зауксусилось. Гуляя, завёл Машу на окраину, где когда-то снимал скворечник с первой женой. Сунул голову за ограду – в «их» окошке торчала заплаканная мордочка ужаленной солнцем девочки.

Поначалу первая жена Мадина пыталась и во сне вытеснить Машу, она к нему даже с Маратиком приходила. Смотрела с укором, и тогда он не выдерживал и убегал из сна. Лежал на спине и разглядывал, как стучаются лунные черепа на потолке.

Сынок ему всегда вспоминался маленьким. Как он на первой их съёмной квартире осторожненько по стеночке ходил,

как в окошко кулачком стучал, провожая папу в редакцию, как от медсестры со шприцем прятался в шифоньере и оттуда верещал жалобным голоском: «Малат усол, тётенька. Погулять!», как обкакался на столе на важные папины бумаги...

Рауф дивился способности головы неожиданно доставать и выбрасывать наверх откуда-то из неясных глубин клочки, казалось бы, давно уже омертвевших дней. И тогда колючка, обрызганная дождём, вспыхивала жёванным цветком, который, расправляя оборки, заполнял весь мозг. Рауф вдруг унюхал влажную от слюнок рубашечку сына, почувствовал его любопытные пальчики у себя во рту, услышал «гр-р-р» из алого беззубого рта и даже руки развёл, чтобы обнять сына. Такая любовь в нём забушевала!

...А ночью Рауф плакал. Всё во сне было правдоподобно. Обнимашки, сопельки. Не удержался и посреди ночи принялся писать письмо сыну на старый казанский адрес. Через месяц пришёл ответ. Из Москвы! Оказалось, сын женился на москвичке, и Рауф давно уже стал дедушкой. Письмо ему переправила бывшая жена Мадина. Она жила в Казани с большой дочерью от второго брака.

Договорились, что когда сын в июне приедет к матери, то заедет к отцу – внучку показать. Рауф даже начертил ему схему, где продаются билеты в речпорту до деревни Улиткино, нарисовал Волгу и пароходик на ней – как он будет красиво плыть, огибая острова. А на палубе он изобразил двух человечков. Старался, конечно, для внучки.

...Поставил стол в саду в тени под старыми вишнями, бросил красный ковёр на сорную траву. Этот ковёр Маша берегла – ругалась, когда по нему ходили. Порхать заставляла! С книжки снял сбережения.

С большим трудом в свином царстве раздобыл барашка. Агроном-татарин выручил – заказал за триста кэмэ за тысячу рэ пять кэгэ своим родственникам. Деликатесов всяких Рауфу доставил спецрейсом знакомый капитан по фамилии Черномор на плавучем магазине: икорки красной, крабов консервированных, буженины, сервелата, пахучих сыров – всего того, чего в местный сельмаг не завозили. И самое главное, вискарь ирландский привёз – прямоугольную пятилитровую бутылку. Черномор вцепился в неё, накрыл кудряшками бороды и отдавать не хотел. Тельняшкой рваной театрально обтирал, целовал, причмокивая. Рауф сжалился, свернул башку ирландцу. Отлил полкружки. Липкое облачко заморского алкоголя повисло над ними, пока его не спихнул с палубы волжский бриз.

– За встречу с сыном! Ну, айда... Вуй какуй она вкусный! – закачался, прикрыв зенки, капитан.

Потом плавмагазин отлип от пирса, заложил крен, и Черномор заорал песню. Пока Рауф затаскивал сумки, вискарная тучка над ним всё висела и капала. И вдруг хлоп – накрыла медузой. Еле отфыркался. Чтоб перевести дух, прилёг на жерди, и тут его ноздри, как рюмочки, до краёв наполнились сладким бухлом. Выдавило слёзы, язык прошуршал

по губе. Он отщипнул от смородины соцветие, пожевал. Так Рауф всегда делал, когда пил от Маши тайком и нечем было закусить. Но спирт хорошо перешибали только мята или смородиновый лист, а лучше всех – лучок. Вспомнил, где делал схроны: в трубе, подпирающей уборную, в самоварном сапоге, ещё высоко на яблоню за шнурок подвешивал. Но у Маши была фантастическая способность отыскивать предметы. Она специализировалась по водке. С закрытыми глазами руку протянет и... буль-буль – в сорняк. Его прятки с питьём были, конечно, детским садом. Она даже глоток на другом краю огорода слышала, а глядя на спину Рауфа, уже понимала, что тот тяпнул. Жалела! Вот если бы орала ослицей, то не завязал бы, а иконка тут, кажется, и вовсе ни при чём. Тем более на татарина она никак не действует.

Кто-то нетерпеливо попинал ворота. Потом закричал: «Ра-а-ауф! Аتكрой, это Лида пришла, вина тебе принесла». Он затих.

Осторожненько, чтобы пружины не застонали, прилёг и даже руки на груди скрестил. Умер для Лиды и для всей её родни. Они тоже нет-нет да и заглядывали. Мужики пытались пролезть ужом. Рюмочную хотели из его избушки сделать. Хрен вам!

Сын должен был приехать с внучкой на последнем омике. В письме он намекнул, что в Подмосковье у него большой коттедж. Хоть посёлок и называется Дурыкино, но люди здесь хорошие, а природа вокруг напоминает леса Повол-

жья. Зайцы даже к крольчихам в село забегают. Сынок с женой по утрам уезжают в город, а няньку держать накладно, да и доверия к чужим тётям нету. Рауф начал подумывать о продаже избы. Сосед, казанский дачник, вроде бы для своего зятя домик подыскивал, чтобы поближе к Волге. Рауф даже заходил к нему вчера, но того не оказалось.

На стол прыгнул червивый ранет. Посшибал рюмки и поскакал себе дальше. Рауф пошёл поправлять. С утра поползал по грядкам виктории и отыскал три спелые ягодки для внучки. Под каждую подложил листочек мать-и-мачехи. Подумал: «Виски со льдом подать или просто сунуть в морозильник?» Вспомнил из где-то прочитанного, что тогда вкус «цепенеет» и только при комнатной температуре «распускается, как букет». Напишут же! Вынес из сеней бутылку, как сонного ребёнка на руках. Плеснул осторожно в рюмку, чтобы понюхать этот самый «букет». Покрутил на солнце. Пьяные зайчики разбежались по саду. Поднёс к носу, втянул. Голова откинулась. Это был вдох, не глоток. Или всё же маленький такой, микроскопический глоток? И был он похож на пропавшего щенка, который вдруг объявился и заскулил у ног, тычась в брючину. Потом резво обежал все комнаты, куда давно не заглядывал. Легко толкая лбом тяжёлые двери, чихал, смеялся и под конец сделал весеннюю лужу под иконой «Неупиваемая чаша». Рауф нагнулся с тряпкой и тут был повален и зацелован. Щенок на глазах превращался в барбоса.

...Марат долго стучал в ворота, потом перелез через забор. Открыл дочке. Занёс сумки с едой и гостинцами. Отца нашёл под столом. Тот спал, накрывшись скатёркой. Ночью он замычал, ударился головой, но, выпив, опять затих. И спал, посасывая виски, три дня. Сын полил помидоры, внучка собрала ягоды. Оставила дедушке три спелые на блюдечке. Уехали они утром, положив подарок – французский одеколон на самом видном месте. Вот проснётся Рауф, пусть порадует. Потом на комодке найдёт свою тетрадку со стихами, которые посвятил Мадине. У «сверчков» ведь было продолжение:

Для тебя для одной, для одной...
на изломе вишнёвая ветка
тонко пахнет весной!

Петькины бурдюки

Петька всё лето ходил в болотных сапогах. Худой, в пи-джеке с пугала, он и в жару носил кепку с ворсом. Утром быстренько прошмыгнёт на консервный завод, зато вечером выходит из проходной очень важно, как гусь. За поворотом уже поджидают дружки. С Петьки стягивают ботфорты и осторожно сливают содержимое в тазик. А он сидит на упавшем заборе, прихлопывая ос на худых и белоснежных ляжках, от которых тащит винцом.

Дружки каждый раз шутили об одном и том же. Просили ноги шампунем помыть, а то, вишь, винный букет перешибает. Черпали пластмассовым ковшиком, закусывали ржаной буханкой, которую потрошили на коленках. Быстро дурели от яблочного вина, которое называли «Слёзы Мичурина». А Петька не пил, у него изжога от этого кисляка началась. Лечился стаканом самогонки. Целый день он на заводе кочевряжился, ящики блестящим пиратским крюком подтаскивал к влажному жёлобу, по которому разносортница катилась в зев, где сверкали равнодушные ножи. Им всё равно, что покрошить на кубики: крепкую антоновку, червивую скороспелку или Петькину кепку. Внизу в сырой преисподней жёлтое пюре растекалось в прозрачных трубках по чанам. Кисляк бродил и пенился, урча от всыпаемых порций сахара. Угрюмый инженер, грек по прозвищу – Ехал грека

через реку, бродил от чана к чану, что-то записывал огрызком карандаша, который затачивал зубами, в амбарную тетрадь. Пробовал, припадая губами к кранику, сплёвывал и незаметно набирался. К концу смены из-под земли неслась его гундосая песня из непонятных слов. Наверное, то была «Илиада»!

Трезвенники на заводе не задерживались. Вороны и те ходили, как матросы, вразвалочку, а бурые крысы лежали прямо у проходной, и контролёр татарин Мансур перед приходом директора брал фанерную лопатку для уборки снега и метал тушки за забор. Так что птицы здесь ходили, а крысы летали!

Директор был ушлый дяденька-еврей, который прикрывался от солнца или дождя пухлой папкой. Он в первый же день своего назначения собрал рабочих и сказал, что пить яблочное вино и есть нерасфасованную по банкам солянку можно сколько душе угодно, но только на территории завода. Выносить за пределы возбраняется, и это будет караться штрафом.

Болотные сапоги – Петькино изобретение. Снабжал он вином не столько дружков своих, сколько девушку одну по имени Лиза. Она приезжала к своей бабке на майские и застревала здесь в объятых ползучего хмеля до октября. Частенько засыпала в огороде у Петьки с заголившимися ляжками. Но Петька не пользовался, а тихо любовался из картофельной ботвы с травинкой в зубах. Пристроится рядом и пялится на

задницу, как в телевизор.

Пришла осень, но для Лизы с Петькой наступила весна. Он её поил исключительно «Советским шампанским», пряники покупал. В мае она уже качала хныкающий свёрток. Петька хвалился: «Всё как у людей, ссытся и под себя ходит. Подрастёт, вино папке таскать будет, а потом мне морду набьёт!» К концу лета любовь завяла. Петька принялся поколачивать Лизу – и довольно крепко. Без фонарей она уже не ходила.

В моменты трезвости Петька упивался книжками. Особенно Шукшин ему нравился. Помню, лежит он в дырявой лодке, заложив страницу одуванчиком, и смотрит на город, покачивающийся на горизонте. Волны лижут сахарный Кремль и маковки церквей. Увидев меня, стрельнул сигарету и сказал: «Я вот в Казани лет двадцать как не был. А чё там делать? По рюмочным ходить, а потом в лоб от какого-нибудь жлоба получить? Не, я уж лучше здесь полежу». Лодка была излюбленным местом его уединений.

Каждое лето в отпуск из города приезжал родной брат Пети Васька. Первое же застолье заканчивалось мордобоем. Били они друг дружку красиво, напоказ соседям и дачникам. Даже не били, а убивали. Бегали с мотыгами, окучивая загривки и бока. Потом брались за лопаты и шли в штыковую. Если вначале в воздухе висел мат, то дальнейшее кровопролитие проходило стиснув зубы. Только «ах» и «ох» при прямых попаданиях.

Драка эта была традиционной. Ещё когда Васька входил во двор и стряхивал с мокрых плеч сумки и баулы, связанные носовым платком, он уже готовился к бою. Искоса при-сматривал, где стоит садовый инструмент. Петька же, заклю-чая младшего брата в объятия, невольно отмечал, как тот поправился за зиму и теперь его будет сложнее завалить. На-чало драки всегда было одним и тем же. Петька вскакивал на стол петухом и, исполнив боевой танец по рассыпанной со-ли, носком офицерского стоптанного ботинка заезжал брату в зубы. Тётя Люся орала голосом Зыкиной: «Убивают! Па-маааагите!» Гости разбегались.

В сумерках братья шли в примирительную баньку. Были слышны влажные шлепки берёзовых веников и шумные об-ливания ключевой водой. Дверь скрипела, выплёскивая жёл-тый свет в темень зарослей, где засыпала, посвистывая уста-лыми птицами, старая черёмуха. Угли, вытряхнутые из са-мовара, шипели в ночной росе. И я подумал: «А что если это любовь такая у них? Странная, жестокая, дикая?»

На следующий год я появился в деревне на майские празд-ники. Начальник пристани первым сообщил, что Петька по-мер. В крещенские морозы, когда Волга трещит под весом призрачного ледокола, Петька вышел из проходной... Нака-нуне он особенно крепко побил Лизу за то, что строила глаз-ки участковому. Был день аванса. Петя повстречал у сельма-га кого-то из дружков. Раздавили беленькую, потом добавил одеколон.

...Вот он пнул калитку и зарылся в пушистый тёплый сугроб. И почему с «сугробом» так хорошо рифмуется «гроб»? Лиза, отодвинув весёлую в крупный подсолнух занавеску, посмотрела на Петьку, и не вышла.

Могильщик дядя Миша, которого я повстречал у трубы родника, сказал мне:

– Вона смотри, руки у меня болят, пальцы еле шевелятся. Зимой копать воще никаких сил нету. Так мне Петька-покойник посоветовал, ты, грит, дядь Миш, зимой их не копай, а зараний, осенью, когда земля ещё пух. Ну я, это, взял и выкопал в рядок сразу девять ямок. За зиму, так и есть, одна старуха померла, семеро – молодёжь, а девятым Петька представился. Замёрз, пока ночь лежал, как Иисус – руки в стороны. Я ему и могилку-то расширил, крестом сделал. Так и закопали. Хороший парень был, хоть и дурак!

Я толкнул Петькину избитую ногами многострадальную калитку. Посмотрел на проталину с пеной от последнего сугроба. На ней уже проклюнулись жёлтые цветочки. Может, он как раз на этом месте и...

Прошёл к вдове. В захламлённых сенях с верёвками, цепями и пучками полыни на гвоздике висели те самые болотные сапоги-бурдюки – носами в разные стороны, как будто рассорились. От них тащило кислым яблочным винцом...

Лестница в Небеса

Он всю жизнь что-нибудь строил. То одну дачу, то другую. Всё кому-то помогал из родни бесплатно, бывало, что и шабашил, но полученные бабки оставлял тут же, не отходя от кассы. И тогда за тёплым строительным вагончиком быстро вырастала стеклянная горка тары.

Витёк сладко пил горькую. Мог в одиночку выдуть две поллитры за вечер без закуски. Выставив вперёд хромую ногу, как пират культу, он ронял кудрявую голову на верстак, где цыганские кудряшки сразу же начинали дружить с белоснежными стружками, складывал трубочкой губы и начинал сладко посвистывать. Рука с набухшими венами подрагивала, во сне она оживала сама по себе и хваталась то за молоток, то за топор, но тут же роняла. Успокаивалась, только когда находила бутылку. Значит, всё хорошо, значит, в мире полный порядок.

Утром, морщась от тошнотворного запаха сивухи, которой провоняли все чашки с отбитыми ушками, он глотал крепкий чай сразу из двух пакетиков, после чего выходил на стройплощадку и начинал цепляться к своим напарникам, которых ещё только вчера хвалил. Через полчаса придинок командовал: «Переделать всё к этой матери! Косо и криво. Кто ж так строит? Вы ж меня, сволочи, позорите!»

Потом из города приезжал хозяин, привозил водки, сига-

рет и умолял Виктора оставить всё как есть. Наливал ему граммов сто. Щёлкал услужливо зажигалкой. Уважительно называл «бригадиром». Витя тряс упрямыми кудрями, шевелил ноздрями, громко вдыхал пары водки и немного добрел. Наконец, соглашался: «Ладно, чёрт с тобой. Только ты никому не говори, что эту дачу я тебе построил!» «Не вопрос!» – соглашался тот и наливал ещё. Джип хозяина хрустел обледенелой травой, пустая бутылка летела к подружкам. Из угла испуганно, как кутята, тарасились две целенькие и грели Виктору душу. Он любил потянуть волынку. Пусть стоят себе час и два, даже до ужина. Приятно вожделеть, испытывая на себе слезящиеся от похмелья глаза напарников. Зато потом... Кривые улыбочки, гы-гы, добрая матерщина, кислый табачный дымок сединой вползает в нечёсанные шевелюры.

Лампочка мутнела, холодком тянуло в двери. Снаружи скулил абрикосовый пуделёк, забытый дачниками, который уже грыз с голодухи жёлтые огурцы. Аванс таял, росла бутылочная горка. Потом пропили японский инструмент. Внезапно нагрянул хозяин, но водки уже не привёз...

Витя был полугородской. В деревне не зимовал. Глубокой осенью, пропахший костром и мышами, возвращался в город к сожительнице и там дожидался весны. И, наконец, в апреле на первом омике, ломающем вафельный ледок, торжественно прибывал в Студенцы. Обходил, прихрамывая, дворы, навещал знакомых...

Витёк хромал с детства, говорит, прыгнул на спор с при-

стани, а внизу бревно проплывало. Теперь в его стоптанном ботинке всегда лежала отполированная деревянная пятка. Таких пяток у него было несколько: парадная из груши – к кому-нибудь на свадьбу или юбилей, вырезанная из пенопласта – для пляжа. Была даже облегчённая из сосновой баклажки для высотных работ, эта прикручивалась шурупами к каблуку.

Любое строительство, которое он затевал, будь то двухэтажная дача с мансардой или банька, замышлялось им грандиозно, как Колизей. Он чертил на обрывках обоев план строения, доказывал заказчику, что надо заранее забаббахать фундамент под будущую капитальную веранду, а балкон превратить в отдельную утеплённую комнату. Мало ли! Внуки пойдут, родня приедет... Таких поправок было множество, в результате небольшая фанерная дача превращалась на бумажке в загородный дворец, а баня – в Сандуны! И в первые две недели работа кипела. Витя, восседая на ящике с гвоздями и разглаживая на коленке утверждённый план, командовал шабашниками. Но удивительным образом почему-то всё сразу шло наперекосяк...

В прошлое лето я привёз к нему нового заказчика. Это был главный бухгалтер журнала, который хотел построить дачу на зелёном холме вблизи деревни Студенцы. Витя на куске обоев нарисовал ему проект с тёплым сортиром, подземным гаражом, погребом, винтовой лестницей на второй этаж и смотровой площадкой над мансардой. На широкой

лоджии, опоясавшей фазенду, можно было бегать трусцой, а на полукруглом балконе с роскошным видом на волжские просторы – пить чай из самовара. Проект очень понравился главбуху. Через пару дней тот пригнал на участок тёплый вагончик, троих таджиков, куль риса, мешков десять цемента для начала, а Виктору выдал аванс, завёрнутый копчёным лещом в газетку. И пошло-поехало...

Наняв себе в помощники соседа, Витя сказал ему: «Дача эта будет, ох, высокой. Почти что три этажа на бугорке! Без лесенки тут никак. Айда сначала сделаем лесенку».

Витёк выбрал самые длинные брусья, шагами отмерил по земле высоту будущей лестницы. Включил циркулярную пилу, и ему в лицо забил фонтанчик золотистых опилок. Мутная капля пота набухла на кончике сосредоточенного носа. Лестница постепенно вытягивалась двумя белыми линиями на тёмной зелени сада. Врезные ступени с железными уголками обстоятельно, не спеша, делали две недели. Затем лестницушкурили и три раза лакировали. Ну потом ещё недельку обмывали...

И вот как-то чистым молочным утром Виктор растолкал соседа, и они вышли в притихший сад. В конце аллеи сонно плескалась вода и поскрипывала пристань. Лестница – ликовала! Они обвязали её верёвками, ухватились дружно, потянули и... Ещё раз ухватились, расставив ноги, потянули и... Вены на шеях вздулись, ноги по щиколотку вошли во влажные грядки, но... Она, собака, даже не шелохнулась, только

задрожала на брусьях крупная роса.

– Да, – удивился Витя. – Вот это я понимаю, – капитальная лесенка!

Она была настоящим произведением лестничного искусства. Блестела жемчугами на рассвете, отливала на солнце лаком, нежно оплеталась вьюном, и постепенно, как поваленная древнегреческая колонна, становилась частью природы.

Я открутил проволоку, которая символизировала калитку. Вошёл. С тех пор как Виктор разобрал на нашем участке баньку и крышу, прошёл уже целый год. Я приехал разузнать, когда же... Он лежал, крепко обхватив лестницу, как будто бы карабкался куда-то вверх – в небо. Ботинок с пяткой слетел в траву. В бутылке с яблочным вином брюзжал шмель. И добудиться Витю было невозможно...

Смерть поэта

Он бесшумно возник в проёме двери. Стояла липкая жара, и всё в доме было распахнуто. Даже старый холодильник, который потёк. Свет не зажигали – лампочки нагревают воздух, ещё комары... В потёмках блестела капелька на кончике носа хозяина дачи и целилась в гранёный стакан.

– Это ты, Сапфир? – спросил он, почуяв сына.

Тот никогда не звонил, не сообщал заранее о приезде. Отец телепатически с ним общался. Настраивался на нужную волну и начинал различать вдали родной голос, знакомый силуэт. Сын во время сеанса не перечил. Во всём соглашался.

Поступив в литинститут, он оказался среди пижонистых молодых поэтов, и одним только своим именем стал выделяться из писучей стаи. Вадимы, Гены, Саши и... Сапфир!

Сын сел напротив отца, известного татарского поэта Алмаза Байракова, вытащил из портфеля свёрток. Пошуршал. Запахло сервелатом. Стол был заставлен. Ножа не нашлось. Сломал палку и стал жевать. Из темноты появилась бутылка наливки. Жидкость в ней собрала весь свет далёких фонарей и ближних звёзд и засветилась на столе керосиновой лампой. Вскоре тёмный огонь перетёк в стаканы.

– Ну, привет тебе, сынок! – сказал Алмаз.

– Ага, – ответил Сапфир, не чокаясь.

Байраков-старший вытащил промасленную бумагу из-под колбасы. Щёлкнул торшером в соломенной шляпке. Нацепил очки и сосредоточился.

– Со стихами завязал, да?

– Почему это?

– Ну, раз колбасу заворачиваешь. Вот это, кстати, неплохое... Слушай, давно хотел с тобой поговорить, – отец снял очки, аккуратно сложил их в пластмассовый гробик. – Баловство всё это. Бабье занятие. Вон мои фолианты только пыль собирают. Обложки, как могильные плиты.

Сын глянул на книжную полку, где на корешке одной из книг, самой массивной, золотилось имя: «Алмаз Байраков. Избранное».

– Съездил я в конце мая на свою родину – в деревню Кызыл Байрак. Зашёл в сельмаг, а там мои книги лежат рядом с галошами. Обложки серые, скучные, а галоши блестящие, весёлые. Галоши были даже ближе к литературе, чем мои книги. И они смеялись надо мной! Глядя на них, вспомнился Чуковский, мне захотелось обуть их и пошлёпать по весенним лужам. Я купил себе пару...

Сын слушал сторбившись. Казалось, он спит.

– На каникулы приезжала Сабина. Открыла мне страничку в Фейсбуке. Я себе имя взял – Пушкин! К тебе заглянул. Познакомился с твоим окружением. Кривляние одно. Не поэты, а павлины. Я даже запомнил... э-э-э... «Я горел огонь...» мэ-э... «Дрова из печки обваливались на пол...».

Как коряво, как не по-русски!.. А уж сколько там гадости... Я оттуда вылезал весь в говне московских стишков. Вот не поленился, специально для тебя повыписывал. – Байраков распахнул блокнот на пружинке и начал цитировать. Каждую строчку он смаковал и накрывал матом. – Писать ты там стал хуже. Столько пустых стишков навалил. Краснеть за тебя пришлось...

Старик, кряхтя, выбрался из-за стола. По сброшенным стихам сына прошаркал к полке и снял свою книгу. Распахнул её торжественно – внутри зияла пустота.

– Я тут пристрастился козы ножки крутить, – улыбнулся он. – У Зощенко вычитал, как их смолили солдаты. Ты не представляешь, сынок, как полезно курить самодельные папироски из собственных стихов!

Алмаз Байраков вернулся за стол, подобрал с пола бумажку со стихами, достал кисет – приспособленный под табачок старый портмоне – и принялся крутить ножку из стихотворения сына.

– Покупаю дешёвые сигареты, шелушу табак на поднос, добавляю туда чабрец, ромашку, зверобой и заливаю кипятком. Потом сушу. На, попробуй! – он протянул свёрнутую папиросу.

Сапфир затянулся, голову оплёл кокон дыма. Комната качнулась. Он подошёл к окну и высунулся в сад. Глаза различили крупные ромашки, в которых кто-то шевелился. Какая-то птица, похожая на птеродактиля, кружила над кры-

шей. Он выдохнул табачный дым и наполнил грудь ночным садом. Бабочка в бежевом балахоне присела на висок и стала гладить щеку мохнатым веером. Пароход загудел у самого уха и проплыл голову насквозь. Рыбак на Волге ударил веслом большую рыбу, чешуя брызнула и заблестела на онемевших губах поэта.

– Зачем рифмовать жизнь? Зачем? – сам себя пытал Сапфир, и тут почувствовал, как вишнёвая наливка побежала по извилинам чёрной волной. Сначала она неслась со злобным шипением, затем вздыбилась и уже неспешно, по слоновьи наваливаясь, накрывала тяжёлым гребнем всё, что встречалось на пути. Волна с наслаждением топила Москву, давила витрины и гасила окна, как иллюминаторы на «Титанике».

Проплывали, искря о порванные провода, автомобили и киоски... Воронки урчали и глотали шляпы, ботинки, всякий мусор. Бесчисленные белые листочки со стихами устремлялись туда же. Сапфир вцепился в подоконник, чтобы не утонуть. И так простоял до рассвета.

В Москву он не вернулся, но и с отцом не остался жить. Сошёлся с одинокой женщиной, которая проживала в частном доме на окраине Казани. И там тихонько спивался. Отец, когда предавался воспоминаниям, начинал крутить колёсико, настраивая частоту диапазона, чтобы побеседовать с сыном. Говорил о поэтах своей юности. Много читал из Такташа, иногда перескакивал на свои недавно написанные строчки. Болезнь эту он так и не пересилил, зато с пи-

тѣм завязал.

Тайна белой беседки

Созвонившись с заказчиком, Руслан Уразайкин сел на электричку до подмосковного посёлка Дурыкино. «Ну и название!», – ухмыльнулся. Стёр лишние записи в диктофоне, проверил зарядку и уставился в окно. Пейзаж сдвинулся и побежал.

Дом, где его ждали, даже искать не пришлось. Безвкусный кремовый терем с флюгером был виден издалека. Стоял на отшибе, отгородившись от приземистых соседей голубыми елями.

Уразайкин только у ворот особняка вспомнил о дырявом носке. «Сниму и пройду босиком», – придумал. Вежливый охранник в костюме впустил. Добрый доберман повёл по дорожке. Задышался, роняя слюну, и всё совал горячий нос гостью в задницу.

Розы толпились со всех сторон, изнывая от жары. Благоухало то слева, то справа, то сверху. Голова закружилась. За поворотом брызги фонтанчика освежили лицо.

Мшистые валуны, амфоры вповалку, розы, розы и этот чёртов носок! Но разуваться не пришлось. Даже места для этого не было предусмотрено. Шесть ступенек вели на марморное крыльцо с вальяжными львами на тумбах, лёгкие ажурные двери распахнулись в полукруглый холл.

Сбоку зажурчал огромный аквариум с золотыми рыбка-

ми. Роскошная лестница бирюзовой волной ниспадала в зал. Навстречу к Уразайкину, пощёлкивая чётками, спустился хозяин – в спортивном костюме и белой тубетейке. Тепло, по-восточному поздоровался двумя руками и пригласил в кабинет.

Пока шли, Руслан подмечал ляпы: плохенькие пейзажи Среднего Поволжья в тяжёлых рамах, искусственные цветы в огромных вазах, отлакированный кряжистый пень со столешницей и пеньками-стульями – из другой «оперы», на камине деревце с монетками, как в фильме «Старая, старая сказка».

Хозяин Абдулла-хаджи пригласил присесть. Налил в палы холодной воды, пояснив:

– Из священного источника Зям-Зям.

Руслан пригубил. Вкус показался ароматизированным.

– Как-то раз у Аллямы Мухаммада бин Исхак бин Хусейма спросили: «Как ты достиг такого высокого уровня знаний?», – начал голосом муэдзина Абдулла-хаджи. – И тот скромно ответил: «Посланник Аллаха (мир Ему) говорил, с какой просьбой пьёт правоверный воду Зям-Зям, та и сбудется».

Уразайкин благоговейно осушил чашу и попросил Всевышнего, чтобы хозяин не скупился на гонорар. Религиозные речи на него наводили тоску. Организм всякий раз реагировал одинаково – отключал мозг. Голова кивала, а думалось о своём. О том же носке, например. Или о том, нужны

ли Уразайкину такие хоромы? Обшарпанный письменный стол в однушке у станции метро Кунцевская вполне соразмерный для него масштаб. И его, тщедушного с небольшими запросами, просто не хватило бы, чтобы заполнить весь этот объём трёхэтажного особняка с мансардой.

Абдулла-хаджи искал не просто журналиста, а земляка – татарина. Таково было его условие. Через знакомых вышел на Руслана Уразайкина.

Перед тем как прийти сюда, Руслан навёл справки о хозяине. Абдулла-хаджи разбогател на финиковых чётках, ковриках для намаза, шамаилях и пузатых бутылочках «Зям-Зям», которую разливал на заводике в Зеленограде. 150-граммовая бутылочка – 200 рублей. Хотя один корреспондент из интернет-издания докопался-таки до артезианской скважины в Подмосковье, откуда брали «святую» водичку, и даже фото выложил. Но Абдулла-хаджи во всём обвинил конкурентов, якобы это они начали подделывать его «Зям-Зям». Была в нём купеческая жилка. И нюх на деньги был. Отлично раскрутилась его идея выпускать кофе-халяль. Перед помолкой, развязывали мешки с обжаренными зёрнами, приходил знакомый мулла и шептал намаз. Из ладони в ладонь пересыпал и с собой большой кулёк забирал.

И вот в свои пятьдесят пять Абдулла-хаджи решил написать книгу о детстве и воспитании, о религии предков и паломничестве в Мекку, о богатстве и благотворительности. Договорились о цене, и Уразайкин начал приезжать по вы-

ходным к бизнесмену, включать диктофон и записывать монологи. Абдулла-хаджи был словоохотлив. Жаль только, что каждый раз повторял одно и то же. И всё прописные истины: «Надо делать добро», «Сделал доброе дело – иди дальше, не жди благодарности» и т. д. Уразайкин скучал. Привычно делал немигающие «заинтересованные» глаза, а сам в это время придумывал разные сюжеты для киносценариев. Поглядывая на роскошную лестницу, думал, как бы хорошо она подошла для сцены убийства. Вот кровь эффектно стекает по ступеням. Добряк-доberman, поскуливая, слизывает. Потом убийца переворачивает хозяина дома носком ботинка и в кадре крупно появляется лицо Абдуллы-хаджи с прилипшей купюрой ко лбу. Или можно снять по-другому. Убийца толкает хозяина сверху, тот красиво скатывается с лестницы – кости хрустят – и прямо виском об угол мраморного столика. Бамс! И тут вбегает горничная...

– Руслан! – кричит она и роняет поднос с кофейником.

– Руслан! – хозяин трогает его за плечо. – Может, перекурим? Кофе будешь?

Абдулла-хаджи под «перекуром» имел в виду прямо противоположное – подышать свежим воздухом. Он был правильным человеком. Себе не давал и других осуждал. Както Уразайкин приехал к нему прямиком из пивбара. Унюхал и прочёл ему лекцию о том, как алкоголь с табаком пробиивают дыры в сферической защите человека, и туда шайтаны залетают.

Книга получалась толстенная и скучная. Через полгода общения Уразайкин стал бездетному хозяину чуть ли не сыном. Это была идеальная версия отпрыска: не пререкался с отцом, во всём слушался, навещал по выходным.

Наступил сентябрь, деревья оголились. В саду вдруг появилась невидимая ранее белая беседка. Хозяин был угрюм. Атеист, конечно, выпил бы в такую минуту, ведь Зям-зям здесь не поможет.

Абдулла-хаджи пожаловался Руслану на здоровье, судьбу и одиночество. Показал фотографию яркой татарки с редким именем Бибинур, которой сделал предложение, но... Она отвергла. Сказал, что в отношениях с любимой женщиной любовь – не главное. Это дело наживное. И подвёл к старой антоновке, чтобы показать, как прижилась молодая ветка грушовки, привитая год назад. Главное – забота и стратегия! Следует оградить девушку от соблазнов. Телевизор убрать и с утра до вечера внушать ей правильные мысли: «Надо делать добро», «Сделал доброе дело – иди дальше...» и т. д.

Яблоня росла рядом с беседкой. Неубранные плоды показывались на ветках. Абдулла-хаджи сорвал полосатое яблоко и сунул Руслану. Тот уже собирался уходить, но хозяин взял его под локоток и зашептал:

– Хочу тебе показать кое-что... Но это, малай¹⁰, не для книги!

Беседка снаружи была обита речками, как маленькая

¹⁰ Малай (тат.) – парень; здесь: дружеское обращение друг к другу.

пристань. В проёмы вставлено матовое стекло. Хозяин открыл ключом дверь и пропустил гостя вперёд. Руслан оказался в пустом помещении с бетонированным полом: ни стола, ни лавочек.

Абдулла-хаджи повернул выключатель – из люка в центре комнаты ударил в потолок прямоугольный сноп света. Вниз вели чугунные ступени.

Подземная комната была устлана коврами. На уровне глаз находились ниши с табличками, но большинство пустовало – они зияли тёмными бойницами.

Хозяин, прижавшись лбом к стене, испещрённой сурами из Корана, начал молиться. Уразайкин ждал. Наконец Абдулла-хаджи закончил и повернулся к нему. На лбу рубцом отпечаталась цитата.

– Здесь лежит мой прапрадед купец Абубакир, – он ладонью стёр пыль с мрамора. – Он персидскими коврами в Казани торговал. Даже у Николая Второго в кабинете его ковёр висел. Рядом с ним прах его первой жены Марьям и второй – Маршиды, это моя прапрабабушка. А здесь покоится мой отец Исрафил. Был директором райпищеторга. К нему даже Табеев за бараниной приезжал. Ну ты молодой ещё, не знаешь, кто такой Фикрят Ахметжанович. Первый секретарь Татарского обкома!

Абдулла-хаджи носовым платком обтёр имя отца на плите.

– Ты не представляешь, малай, какую мне пришлось ра-

боту проделать! Я ведь на полпути не останавливаюсь. Если возьмусь, то уж до конца. Покоя не дам ни живым, ни мёртвым. Сначала разыскал я всех своих родных по сельским кладбищам. Список составил. Жили они в разных районах республики, кое-кто даже в Башкирии. Собрал документы для эксгумации тел. Ой, какая морока. В Казани крематория нету, и повёз я кости в Москву. Денег много надо. Очень много. Работа большая проделана была. Но я на всё готов. Я хочу, чтобы мы были вместе...

Руслану стало интересно. Он сунул руку в заплечную сумку и незаметно включил диктофон.

– Абдулла-хаджи, а как же мусульманские обычаи? Ведь ваши предки были похоронены с соблюдением традиций и погребены головами в сторону Мекки. Кремация тел – это всё-таки не наше...

– Я думаю, они бы одобрили меня, – перебил он. – Понимаешь, главное, что мы теперь вместе!

Хозяин подошёл к пустой нише с надписью: «Абдулла-хаджи Сулейман», сунул руку в загробный мир и загадочно улыбнулся.

– Жаль, нет наследника. И он бы здесь потом...

Уразайкин опоздал на электричку, следующая была только через два часа. Сошёл с дорожки и пройдя чахлую рощицу насквозь, зажмурился от яркого свечения листьев. Корявый сук, сбросив рукав жёлтой коры, обнажил кость. Руслан лёг навзничь и смотрел, как с верхушки на него планируют

летучие мыши с пятипалыми крыльями. Кружат, заставляя солнце подмигивать.

Он, сложив руки на груди, представил себя навеки усопшим. Лежит Руслан Уразайкин под клёном и слушает, как плавно опускаются листья на землю, как их потом накрывает лёгкий снегопад. Время течёт мимо, не замечая его. Он лежит, как брёвнышко, выброшенное на берег. Затем рыхлый снег дырявят подснежники. Красота!

Руслан увидел белую руку с фенечками на запястье – тянется лебединой шеей к цветку, но не срывает, лишь трогает пальцами нежную мягкость лепестков, растопивших сугроб. И вдруг фенечки рассыпались ягодками, запрыгав по проклюнувшимся травинкам. Руслан хочет их собрать, но боится напугать девушку. Его холмик давно уже стал частью поляны и не вызывал кладбищенской тоски.

Он разомлел под слабеющим солнышком в паутине и закрыл веки. Засыпая, успел подумать: «Они лежали на тихих деревенских кладбищах в тени берёз...»

На том свете...

Избушка в зимнем саду, как перевернутая лодка. Из трубы струится дым, в окне горит янтарь. Сад притихший, но время от времени остекленевшие яблони оживляют снегири. Они посвистывают и крутятся, как крымские яблоки, полные южной жизни и радости, и старый сад их терпит...

Золотой луч полусонного солнца с трудом проделал в толстом узоре окна лунку и теперь греет Сочинителю небритую щеку, она у него, как у полярника из журнала «Огонёк». Потом луч съезжает на письменный стол, покрытый порыжевшем сукном. Поговаривают, что сукно это было сдёрнуто с того самого карточного стола в Баден-Бадене, на котором проигрывался сам Достоевский! Сверху оно припорошено мелом и табачным пеплом, кое-где имеются случайные прожиги, и лишь в одном месте сигару нарочно потушили мимо хрустальной пепельницы прямо в стол – даже обуглилась верхняя пластина столешницы из карпатского тиса. Уж не метка ли это самого Фёдора Михайловича, когда он крупно проигрался?

Сочинитель был счастливым человеком и умер мгновенно, так и не дописав свой последний роман. Рука соскользнула вниз, процарапав на бумаге линию, уходящую в бесконечность. Ему исполнилось сорок девять.

Вот я читаю последние его слова: «Пустой пляж, каким он

бывает в понедельник ранним утром. На ней – лишь юбочка из брызг воды...»

Когда Сочинитель принимался писать что-нибудь эротичное, то в этот момент две белые ручки с запахом земляничного мыла приобнимали его сзади и любопытными лебедиными шеями залезали к нему в седую грудь – там брэнчали медальоном, внутри которого от боли ахала его законная жена.

Удивительное дело, в течение одного только загробного дня он несколько раз менялся до неузнаваемости: то это был усохший старик с печальными глазами, то вдруг крепкий молодой мужчина, легко жонглирующий пятикилограммовыми гантелями, то юнец, обнюхивающий кружева ночной рубашки школьной подружки сестры, которая приехала погостить на дачу...

Бывало, что он превращался в женщину или в ту самую подружку сестры. Тогда, облачившись в узкое девичье тело, как в летнее платье, писатель начинал чувствовать всё то, что невозможно для обычного не-пишущего мужчины. При этом он всё записывал. Придумывал разные ситуации, сталкивал героев. Обрушивал на дачу летний ливень и загонял в дом мокрого и сверкающего, как сом, рыбака в бушлате. А затем любовался, как в омуте тёмного зеркала белую плоть русалки накрывает смуглое тело... Заметим, что черты рыбака уж очень напоминали фотографии самого Сочинителя в молодости.

Потом у него родился сын, а роман, увы, не рождался. Сюжет жил в голове, но никак не ложился на бумагу. Ветер и тот можно поймать в паруса! Этот ненаписанный текст сам по себе резвился: то он блистал в пыльных квадратах солнца, пасьянсом разложенных на письменном столе, то вдруг разом осыпал все свои эпитеты, точно разжалованный генерал – эполеты. И тогда становился скучен, как канцелярский циркуляр, а ночью, когда жидкая луна заливала зелёное сукно, текст шуршал и переписывался сам...

Сочинитель выглянул в окно и увидел, как струи июньской грозы прибывают к земле пионы. Шум потоков, визги попавших под дождь. Жена жарит на примусе яичницу с укропом из деревенских яиц. Волны запахов: дождя, яичницы и свежего керосина. Жену он не видел, только слышал. Дождь оборвался, как будто наверху обрезали серебристые нити, и землю ошпарило солнце. Огурец дополз до чердачного оконца и там пожелтел.

Он одним пальцем набил на машинке: «Стоит вязкая, как мёд, духота. Маятник старинных часов завяз в сотах лета. Стрелки усов обвисли. Старик засуетился и стал открывать одну за другой дверки своих задыхающихся часов».

Сердце заныло, он прижал к нему холодную, похожую на саркофаг, пепельницу. И тут Сочинитель вспомнил два дня из своей жизни, между которыми пронеслось лет десять.

Бабушка ждала его ещё с вечера пятницы. Услышав шум омика, она выходила за калитку и смотрела на пристань. С

грохотом отворялась дверца и со скрежетом по цементному полу вытягивались мостки. Начинала валить толпа. Бабушка напрягала зрение и, просеивая вереницу дачников, пыталась разглядеть родное пятно.

Сочинитель закурил, дымок затянуло под колпак лампы. Он увидел её смуглую от солнца кожу, стянутую морщинками. Её костлявую руку, сложенную козырьком над глазами. С ней здоровались, то по-русски, то по-татарски. Он, прячась за чужие спины и стараясь не дышать, прошуршал мимо неё, как тень. Пока ехал на омике, прикончил бутылку портвейна. Осмелел и познакомился с одинокой женщиной. Она жила у второго родника, это выше бабушкиной дачи. Там он и пропьянствовал две ночи подряд, и денег оставалось только на обратный билет. Бабушка и в понедельник всё ещё ждала его, стоя у калитки...

Второй день – он соединился с первым позднее. Снимали фильм о татарском поэте по сценарию Сочинителя. На татарском зирате¹¹ искали его камень, но за ночь навалило снегу по самые полумесяцы. День был ясный, безветренный. Искали весело, бросались снежками. С писателем пришла практикантка – в чёрной каракулевой шубке, отороченной белым мехом. Крупные глаза, большой рот. Распили бутылку вина, и он стал тискать её «на глазах» окаменевших классиков. Сочинитель дышал её духами, погружался в платок и лобызал горячую шею... Группа уходила, им кричали, девушка с

¹¹ Зират (тат.) – кладбище.

хохотком потянула его за собой. Последнее, что увидел, была некрашенная калитка ограды, где лежала бабушка. Она открылась от осеннего ветра, да так её и занесло снегом. Ноги уже скользили к выходу, и только в ушах стоял знакомый голос: «Ул начар кыз! Аның белән йөрмә!»¹²

Сочинитель выглянул в подтаявшее голубоватое окно. Синички, как маленькие альпенштоки, долбили зиму со всех сторон. Он раскрыл «Книгу Ада и Рая» и прочитал: «Однажды, прогуливаясь в райских куцах, путешественник увидел дерево, на котором сидели белые ослепшие птицы, и веяло от них печалью. «Что это за птицы?» – спросил он. «Это души грешников, – объяснили ему, – по воскресеньям им разрешено покидать Ад».

Сочинитель услышал тянущие тоскливые звуки из сада, как будто бы там плакали слепые дети, от которых сбежала собака-поводырь. В глазах потемнело...

¹² Ул начар кыз! Аның белән йөрмә! (тат.) – Она плохая девчонка! Не ходи с ней!

Роскошные сны Барласа

Может быть, оттого, что сирень за окном расцвела и ночью одурманила, а может, травка какая в табак попала, только чудной сон приснился Барласу – нежный какой-то, весь в поцелуйчиках, как будто даже спрыснутый одеколоном. Читает там, во сне, Барлас газетку, на нём такая белая, как черёмуха, рубаха, а рядом, спиной к нему, женщина худенькая стоит и говорит:

– Они, наверное, уже не придут в себя...

– Кто это?

– Да розы...

Потом шёл совершеннейший бред. Два пацана, одетые в матроски, залезли к нему на колени и начали умолять рассказать про какого-то там Нансена-Амунасена. Дверь открылась, вошла школьница в белом фартуке и протянула на подносе голубую записку: «Позвоните, когда вернётесь в Рим. Обязательно купите воскресную «Униту».

Барлас курил, лёжа на топчане, и вспоминал:

– Хе! Гляди-ка, Рим... Тут до Казани доедешь – и то спасибо.

Татарская деревня Шувази, в которой жил Барлас, была обитаема только летом, когда грибы появлялись.

А зимой, кроме Барласа да старухи-гадалки, никого тут не было. Жили они на разных концах деревни и виделись толь-

ко издали, – помашут друг другу рукой, мол, живы ещё пока, и всё... Но как только Барласу приснилось такое, собрался он к старухе, взял рыбки солёной – угостить – и пошёл.

– Снится мне, Муслима-апа, будто сижу я в кресле, в белой рубаше – такая белая, как черёмуха, – да, и всё газету какую-то заграничную читаю, и всё-то в ней понимаю! А тут баба одна крутится, нет, не баба, жэ-энщина, и цветочки водой брызгает.

Он налил себе мутной самогонки, зажмурился и тут вспомнил про высокую бутылку, которую та женщина во сне поставила на скатерть. Барлас мог сейчас по запотевшему окну написать по памяти это заморское словечко: Whiskey.

Муслима-апа, оборвав вечное своё нашёптывание, сказала:

– Если приснится ещё, стукни её по голове и скажи так: «Суга батсын – бака булсын»¹³. Семь раз повтори!

Появился он снова через неделю.

– Вчера во сне, ну, опять напился ихней водки, – признался Барлас. – Вот ей-богу, трезвый лёг, это она меня напоила. Ну, проснулся поздно – и пьяный как-то не так. Чувствую, всё во мне гудит и поёт...

– Чего ж не стукнул-то? – удивилась гадалка.

– Забыл...

Женщину ту звали странненько – Ортанс, и была она ему

¹³ Суга батсын – бака булсын (тат.) – пусть утонет и в жабу превратится.

законной женой. «Вот так-то, – ухмылялся Барлас, – во сне я, значит, женатый».

Муслима-апа дала ему бутылёк с настоем. Два дня попил он по глоточку её варево, помутило-помутило, и вдруг при-снилась сама Муслима: будто хлещет его крапивой и шепчет: «Пэри, пэри, кит моннан!»¹⁴ – И так весь сон... Вылил Барлас остаток в землю.

А под утро снова пришла Ортанс, взяла его за руку, успокоила, и он проспал до обеда. Они калякали в сумерках избы по-французски. Потом долго в ушах стояло: же-же-же, лю-лю-лю...

Зимой, когда пурга замела избушку доверху и дом трещал под тяжестью снега, Барлас женился на Муслиме-апа. Не такой уж и старой оказалась гадалка, было ей тридцать пять или около того. Протоптал он к ней тропинку и, балансируя, как канатоходец, перетаскал свои нехитрые пожитки: тяжёлый баул, столярный инструмент и берданку, а ещё малиновые корешки в мешочке (горят в печи красиво).

Натопила она баньку. Сняла с себя яркие тряпки, бусы рубиновые, поддала пару, чтобы скрыть наготу, и молча исхлесталась веником. Разгладила морщины, намазала волосы жиром и поглядела на мужа своего свежо и молодо:

– Ну что, Барлас, потрёшь, что ли, спину?..

Ночью снова пришла Ортанс. Они сидели на веранде. Чёрная струйка лилась в фарфоровую полупрозрачную чашку.

¹⁴ Пэри, пэри, кит моннан! (тат.) – дьявол, дьявол, уходи отсюда!

Тяжёлый серебряный нож снимал стружку с колобка масла. Из круассана брызнуло варенье.

– Когда ты собираешься в Рим?

– Сразу после Троицы. На обратном пути заеду в Берлин, надо разобраться с бумагами...

Так они и жили, не мешая друг другу: Ортанс – во сне, Муслима-апа – наяву. Только иногда из своих роскошных снов Барлас случайно прихватывал запахи... Так, вдруг его тело начинало благоухать духами Ортанс. Муслима-апа принюхивалась и бросала в печь пучок трав. Иногда в избе возникала и с шумом проносилась свежесть роз или обдавало лицо жаром кофейных зёрен. Барлас выходил на крыльцо, обкуривал себя едким дымком и, морщась, думал о том, что вот ему ни к чёрту не нужна ни эта корова с парным молоком, ни самогонка даже, ни Муслима со своими куриными пирогами... Да и от себя самого он теперь шарахался, как от чёрта. Сидит-смолит, поплёвывает. Подносит самокрутку к губам и с удивлением разглядывает эту чужую огрубевшую руку.

– Как ты думаешь, если я вечером выйду в этом?

– Пожалуй...

В тот день с утра он курил на веранде душистую сигаретку, а Ортанс собирала чёрную вишню. Нырjala в белом платье в глубокой зелени и возникала то здесь, то там. Махала ему рукой, что-то кричала, но он ничего не слышал из-за шума листьев. Потом вышла к нему утомлённая. Ивовая

корзинка поскрипывала в руке.

Вечером, часу в седьмом, приехали гости. Дом наполнился шумом. Звон разбитого фужера, глупый смех. Ночью собрались купаться – при свете луны, а он остался, сказавшись больным. Сидел в своём дачном кабинете, пытался читать Мережковского и писать. Потянулся к графину... И вдруг дача содрогнулась от крика: «Барыня утонула! Ба-а-а...» Белые напуганные листы разлетелись по комнате, чернила впитались в сукно...

Барлас вскочил с кровати. И снова послышалось это: «Барыня утонула!» (Муслима-апа пробормотала сквозь сон: «Полстакана настойки из лопухов».) Он прильнул к окну и увидел, как медленно надвигается на дом белёсое облако. Набросив тулуп, выскочил в сад. Куст вишни задрожал, отрясая капли ночного дождя. Пугало пошевелило рукавом. Барлас озирался в поисках облака, и тут оно накрыло его тёплой волной.

– Ортанс! Jevousaime... Je...¹⁵

– N'etes pas faites... pair vegeter ici!¹⁶

Он дотронулся до неё. И пальцы, почуяв родное, близкое, нырнули в мокрые волосы, пахнущие рекой. Забрезжило утро. В камышах зашевелился сонный ветерок. Какой-то рыбак видел, как два шара бесшумно пронеслись вдаль. Покружив у Шурячьего острова, они взмыли в голубой просвет

¹⁵ Jevousaime... Je... (фр.) – Я люблю Вас... Я...

¹⁶ N'etes pas faites... pair vegeter ici (фр.) – Вы не созданы для прозябания здесь!

хмурого неба...

Такое весёлое кино

В Казань ташкентское лето заглядывает в июле недельки на две. Надевает на дома стёганный халат, не даёт дышать. Даже Волга по утрам не обдувает улицы – стоит болотом. Лезешь в печку красного автобуса. Рубашка липнет, железная пряжка прожигает тавро на пузе. Рядом покачивается горячее бедро студентки. Отодвигаешься.

Наконец – речной порт. Волга горит, полыхает за вениками берёз. Курится урна и душит дачников на остановке. Продавщица откатывает лоток. Надо бы взять пивка, всё-таки у меня отпуск...

Обжигаясь о поручни трапа, пробегаю наверх – на открытую палубу «Московского». Косая тень вся занята пассажирами, они сидят – сиреневые, а на солнечной полосе, на самой сковородке, тает одинокая женщина в бултыхающейся на горячем ветру шляпе. Белая шляпа растворяется в пылающем воздухе, дребезжащим от мотора. Неизвестная картина Клода Моне!

Пассажирка сидит как будто без головы, только рука – туда-сюда – машет журнальчиком. Она достаёт из корзиночки стальную фляжку, и мои ноздри щекочет коньячный ветерок. Вбулькала прямо в шею! Потом метнулся сигаретный дымок и похлестал по моим щекам.

Бриз охотился за этими запахами и быстренько сдувал их

с палубы. Хотя какой на Волге бриз? Ветрюга, бьющий наот-
машь. Он косматит причёски, брызгает пломбиром в лицо,
ломает в пальцах газету. Хулиганит: то обдаст хвоей, при-
хваченной с дальнего прибрежного лесочка вместе с дымком
костерка, то сунет прямо в нос запашок сайры из распахнув-
шегося гальяна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.